

ГЛАВНАЯ КИНОПРЕМЬЕРА 2017

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ

ЛЕВ
ПРОЗОРОВ

Лев Прозоров

**Евпатий Коловрат.
Легендарный воевода**

«Алгоритм»

2009

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Прозоров Л. Р.

Евпатий Коловрат. Легендарный воевода / Л. Р. Прозоров —
«Алгоритм», 2009

ISBN 978-5-906914-17-0

К премьере фильма «Легенда о Коловрате»! 1237 год от Рождества Христова. Погибельная зима Батыева нашествия. Рязанский воевода Евпатий, ездивший за подмогой, возвращается на руины родного города. На руины собственной жизни... Если твой дом превратился в пепелище, если мертв государь, которому ты служил, и все, кто был тебе дорог, если сам Бог, в которого ты верил, отвернулся от тебя и твоей земли, — где искать помощи? И не пора ли вспомнить, что носишь совсем не христианское, а древнее языческое прозвище? Летописи сообщают об отряде Евпатия Коловрата невероятные вещи: оказывается, татары считали, что против них поднялись мертвые, — неужели обычная партизанщина могла так напугать прошедших полмира головорезов? И почему, чтобы одолеть русских «храбров», завоевателям пришлось бросить против малой дружины Коловрата тысячи своих лучших воинов — сотня против одного? В кого превратился последний воевода мертвого города, если враги смогли убить его лишь с помощью стенобитных машин? Кто откликнулся на его зов и пришел к нему на помощь? И что на самом деле случилось на Русской земле смертной зимой 1237 года? Читайте новый роман популярного историка, автора бестселлеров «Русь языческая» и «Святослав Храбрый — русский бог войны»!

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906914-17-0

© Прозоров Л. Р., 2009

© Алгоритм, 2009

Содержание

Часть I	7
Глава 1	7
Глава 2	25
Глава 3	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Лев Прозоров

Евпатий Коловрат. Легендарный воевода

Тем, без кого не было бы этой книги: Хозяину.

Евпатию по прозвищу Коловрат.

*Московскому поэту Сергею Калугину и ижевскому поэту Андрею
Горишнову.*

*Доброславе, Божене, Раките, Богумилу и прочим родноверам и
родноверкам Рязани.*

Искре – за то, что терпела.

Беде – за то, что пинала!

*Удары сердца твердят мне, что я не убит.
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Я открываю глаза – надо мною стоит
Великий ужас, которому имени нет.
Они пришли как лавина, как черный поток,
Они нас просто смели и втоптали нас в грязь,
Все наши стяги и вымпелы вбиты в песок,
Они разрушили все. Они убили всех нас...
И можно тихо сползти по горелой стерне,
И у реки, срезав лодку, пытаться бежать,
И быть единственным выжившим в этой войне,
Но я плюю им в лицо, я говорю себе: «Встать!»...
Я вижу тень, вижу пепел и мертвый гранит,
Я вижу то, что здесь нечего больше беречь,
Но я опять поднимаю изрубленный щит,
И вынимаю из ножен свой бессмысленный меч...
Я знаю то, что со мной в этот день не умрет:
Нет ни единой возможности их победить,
Но у них нету права увидеть восход,
У них вообще нет права на то, чтобы жить!
И я трублю в свой расколотый рог боевой,
Я поднимаю в атаку погибию рать,
Я кричу им: «Вперед!», я кричу им: «За мной!».
Раз не осталось живых, значит – мертвые,
встать!*

С. Калугин

© Прозоров Л., 2017

© ООО «ТД Алгоритм», 2017

Часть I Евпатий

Глава 1 Мертвый город

*Несть бо ту ни стоюща, ни плачюща,
И не отцу и матери о чадах
Или чадом о отцы и матери,
Ни брату о брате, ни близнему роду,
Но вси вкупе мертвы лежаши.¹*

Они опоздали.

Это стало явным, когда еще не показалась из-за бора гора над Окой, на которой стоял их город. Девственно чистым было зимнее небо над лесом. Ни одного печного дымка.

Когда дружина выехала из-за бора, глазам гридней² – своих и невеликой черниговской подмоги – предстал черный, обугленный горб горы.

Вскоре они увидели первых мертвецов. Это были мужики, бабы, дети, старики со старухами. Те, кого гнали перед собой на стены враги,³ те, кто должен был волочь к стенам своего города стеноломную, камнебойную смерть. Те, кто, увидев, куда и зачем их привели, бросились с голыми руками на чужаков или просто спокойно опустили в снег: убивайте, мол. А дальше нейдем.

Их было много – десятки, может быть и сотни. В другое время воевода склонил бы голову над их последней отвагой. Сейчас он ехал мимо с пустым сердцем, ибо тщетной была эта отвага. Не спасла она города над Окой.

Потом, у самих стен – у того места, где были стены, – на раскатах⁴ он увидел остальных. Тех, кто все-таки шел на град впереди врага. Что они кричали землякам, сородичам на стенах перед смертью? Умоляли не стрелять, загораживаясь трясущимися руками? Или, наоборот, смерти просили?

В другое время воевода задумался бы о слабости человеческой. А сейчас сердце его было пусто, ибо он сам оказался слаб – слишком слаб, чтобы защитить родной город или хотя бы умереть вместе с ним...

Поднимались меж пепелищ по заваленному телами взвозу. Копыта коней выстукивали «опо-зда-ли, о-по-зда-ли».

Кричи теперь, что мчался изо всех сил. Что спал в седле на ходу. Что разлетались под копытами сугробы, трещал речной лед за спиной и в страхе бежали прочь, забыв зимнюю лютость, серые стаи. Что, если бы еще быстрее, не сдюжили б кони и дружина заснула бы посреди зимних лесов вечным сном...

Кричи! Что кричать, кому?

Старику, сжавшему в руках половинки разрубленной иконы?

¹ Отрывок из «Повести о разорении Рязани», откуда, собственно, и известно о Еупатии Коловрате.

² Гридни – дружинники.

³ «Те, кого гнали перед собой на стены враги» – о таком способе использования пленных монголами мы знаем из сообщений средневековых источников – Карпини, Рубрука, Рашид ад-Дина.

⁴ Раскат – насыпь под крепостной стеной, вал.

Распятой посередь двора голой малолетке со смерзшимися в мутные льдинки на посерелых щеках слезами боли, стыда и смертного страха?

Кузнецу, чью семью настигли посреди улицы, ведущей к воротам детинца, что в последние мгновения видел: гибнет напрасно, никто не ушел – ни жена, ни дочери, ни младшенький, прикорнувший в алой луже под тыном?

Кому, воевода? Может, вот этому псу, лежащему у ворот рядом с хозяином, утыканному стрелами, но успевшему – морда в крови – дотянуться до чьей-то глотки?

Пес сумел – не защитит, так хоть честью погибнуть. А ты, воевода, не сумел. Вот и весь сказ. Вот и весь суд...

Собор высился над пеплом и углями Крома. Белокаменные стены закоптели на две трети, но последняя, верхняя, сияла под солнцем незапятнанной белизной. И радостно сверкали медные купола.

Медью были окованы и ворота собора. Закоптелой, оплавившейся, покореженной медью. Сюда не волокли стенобойных машин и таранов. Ворота выставили бревном – тяжелой и длинной кремлевой сосной, вывернутой из полусгоревшего дома. Оно и сейчас лежало рядом – с разбитым, измочаленным комлем.

Только здесь, у разбитых дверей собора, воевода вдруг понял, что все это время в нем жила, копошилась подленькая надежда: мол, все обошлось, успели, уехали в лесную деревню...

Наверное, ему надо было гордиться. Когда подалась и рухнула искореженная медь соборных ворот, его сыновья не стали прятаться за материны юбки. Кинулись навстречу лезущим в пролом смуглым косоглазым убийцам. Воевода знал своих сыновей – не за так они отдали свои жизни. Свалили одного, а то и двух перед тем, как сверкнула в глаза кривая сабля, погасив мир, в котором они не успели пожить.

Но для гордости не было места в опустевшей душе, и лишь на дне еще скреблась в последних судорогах надежда: «Они... одни только они... сбежали по дороге от матери, пришли сюда...»

Рука лежала в стороне от груды тел. Рука, перерубленная в запястье, – торопившийся чужак решил не возиться с застежкой серебряного обручья.⁵ Тонкие, нежные пальцы сжались в детски беспомощный кулачок, и грабители не стали нагибаться, чтобы содрать с одного из них простенькое обручальное колечко. Воевода опустил на колени над этой рукой, осторожно коснулся ее. Помнишь, спросил он без слов, помнишь, вот здесь, перед алтарем, я надел тебе это кольцо?..

Сам он пытался вспомнить – и не мог. Вот здесь, здесь не могло быть этого... здесь прокрававшаяся в разбитую дверь поземка стелилась между грудями окоченевших тел. Здесь свет угасающего дня равнодушно скользил по мертвым, покрытым сажей и кровью лицам – и безмятежно-благостным ликам на стенах.

– Брате Еупатий...⁶

Он не сразу понял, что окликают его. Оглянулся.

Черниговский воевода Феодор⁷ стоял рядом, глядел с суровой жалостью... У него еще были силы жалеть.

⁵ *Обручье* – браслет. Сохранились рязанские браслеты тех времен из двух литых створок, с изображениями мифических существ и языческих обрядов.

⁶ *Еупатий* – здесь и далее используется древнерусское написание имен – не Евпатий, а Еупатий, не Федор, а Феодор, не Агриппина, а Агрепена и т. д.

⁷ «*Черниговский воевода Феодор*» – боярин князя черниговского Михаила Всеволодовича, вместе с ним погиб в Орде, отказавшись поклониться языческим святыням завоевателей. И Михаил, и Феодор почитаются православной церковью как святые мученики.

– Брате Еупатий, – повторил он, склоняя к воеводе иконописно красивую темноволосую голову. – Не позволяй скорби и отчаянию овладеть собою. Тем утешься, что одноземельцы твои мученический венец приняли и ныне одесную⁸ Христа в царствии Его воссели.

Воевода почти удивился своему спокойствию. Нет ничего больнее утешений того, кто ничего не терял. До чего ж он дошел, если правильные, красивые, ровные и гладкие, словно жемчуг, слова Феодора скатывались по его душе бесследно, не вызывая ни досады, ни гнева.

Он встал, развернулся, двинулся к разбитым дверям, миновав черниговца, словно место пустое. Перед собором, в белокаменной арке с луковкой наверху, висел колокол. Его чужаки почему-то не тронули.

Воевода подошел к нему, взялся за веревку, с хрустом отодрав от земли нижний конец.

– Ба-а-ам! Ба-а-амм! Ба-аммм!!!

Голос колокола несся над мертвым городом. Не голос бирюча,⁹ зовущего на вече, или князя, собирающего в поход. Стонущий крик матери на пепелище...

«Отзовитесь! Кто-нибудь! Кто-нибудь! Кто еще жив?! Хоть кто-нибудь!!!» – надрывался колокол.

Его голос улетал в бескрайние просторы заснеженных лесов под темнеющим небом, над пожарищами и побоищами... И не порождал даже эха. Мертвая тишь висела над мертвым городом, над спаленными дворами и замощенными телами площадями и улицами.

Глагола ей юноша:

«Вижу ты, девице, мудру сущу.

Повежь ми имя свое».

Она же рече...¹⁰

– Чего гремишь, спрашиваю? – расслышал вдруг воевода женский голос. Веревка выскользнула из враз ослабших рук, последний раз крикнул и смолк, словно осекшись, колокол.

Сперва он подумал, что перед ним старуха. Седые волосы в беспорядке падали с непокрытой головы на плечи. Морщины пролегли у краев рта, у глаз. И глаза – такие пустые, безнадежно усталые глаза могут быть лишь у древних-древних старух.

Потом он узнал ее. Кто-то внутри воеводы испуганно ахнул. Когда он уходил за помощью, она стояла на крыльце государева терема в толпе женщин, прижимая к себе детей. Ей тогда не минуло тридцати. Когда же это было? Месяц назад.

Целую жизнь назад.

Жена одного из родичей и подручников государя, кажется, Муромского державца¹¹... Вдруг всплыло имя.

– Княгиня Февро... – начал он, склоняя голову.¹²

– Замолчи! – Пустые глаза не вспыхнули, но холод и тьма хлестнули из них. – Замолчи, воевода, не поминай мне этого имени... дорогонько мне встало имечко, дорогонько – не поднять цену ту лесной глупой бабище...

Княгиня качнула седыми, как поземка, волосами, и, как поземка, пронизывал взгляд досуха высохших глаз.

⁸ Одесную – справа.

⁹ Бирюч – глашатай, собиравший народ на вече, оглашавший решения князя и городской общины.

¹⁰ «Глагола ей юноша...» – цитата из средневековой «Повести о Петре и Февронии».

¹¹ Державец – правитель.

¹² «– Княгиня Февро... – начал он, склоняя голову» – линия седой княгини взята из вышеупомянутой «Повести о Петре и Февронии» – истории о жизни князя и ведуньи из лесной деревни Ласково, ставшей его женой-княгиней и родившей ему двоих детей.

Тут только воевода понял, заметил, что почерневшее от холода тело княгини едва прикрывают лохмотья – задубевшие, вымазанные в золе и саже, вымокшие в крови остатки длинной льняной рубахи. Он хватанул застежку плаща рукой в латной перчатке, нетерпеливо стряхнул ее в снег – словно на бой кого вызывал обычаем заходных¹³ бойцов.

Только кого тут было звать? Своих гридней? Черниговцев? Мертвецов? Или эту женщину с заиндеветыми глазами?

Воевода совладал наконец с застежкой, накиннул подбитый мехом плащ на узкие плечи, застегнул. Из пустых глаз в упор, в лицо пахнуло стужей. Синие губы шевельнулись:

– Не пекись обо мне, воевода. Не помру я – не про меня это счастье. О своих подумай – застынут ведь.

Повернулась, прошла несколько шагов, кроша босыми пятками розовый наст. Обернулась.

– Пойдем, что ли...

...Страх не было. Было... пожалуй, было облегчение приговоренного, щурящегося отвыкшими в порубе¹⁴ от света глазами на два столба с перекладиной и неторопливо мылящего веревку ката.¹⁵ Больше нечего бояться. Все ясно, все видно, скоро все кончится...

Может, так. А может, душа просто гложет и немела, не в силах поверить, что неторопливо, по-хозяйски заливающее окрестности города мутное, вонючее половодье вражьего войска – явь. Не ночная мара,¹⁶ не наваждение. Злая, страшная явь.

Хруст снега под мохнатыми копытами низеньких лошадеков и огромными колесами, ржание, скрип тележных осей, рев быков и верблюдов, свист бичей над простоволосым сермяжным стадом, волокущим деревянные чудовища к стенам города, стоязкий гомон – все слилось в один невнятно обрекающий, давящий к земле, к дощатым настилам заборол¹⁷ рокот.

На дальнем холме вспух белый шатер, над ним хлестнуло девятью хвостами воздух черно-белое знамя. Замерла между ним и стеною деревянная нежить, несыто таращась на город щелями прицелов-бойниц. А орда все текла, текла, текла, вскипая бурунами на балках-яругах, переплескиваясь по льду через Оку на другой берег, к озерам, затопляя брошенные жителями пригородные селенья – Ольгово, Клементово, Чевкино, Шатрище...

Молодая княгиня стояла на надворотной башне, прижимая к груди маленькую хнычущую Елену. Елена не хотела быть на надворотной башне. Ей было скучно. Ей было холодно. Она хотела домой, хотела теплого сбитня с пряниками, хотела играть с полосатой пушистой Ярункой.

Хныканье дочки доносилось до княгини словно сквозь невидимую стену. В свободную руку впился мертвой хваткой насупившийся Константин. Муромскому наследнику было десять лет. Он не хныкал. А влага на щеках – это снег таял. Он понимал, что отец, перед походом потрепавший его по голове и сжавший плечо, отец, не оборачиваясь ушедший за дедом – за Государем! – в белые зимние поля, уже не вернется. Никогда. Слово «никогда» княжич Константин понимал плохо, медленно. Дурное, длинное, бабье слово. Мужские слова, они короче. Долг. Месть. Бой.

На губах княгини стыл немой крик. А в глазах все стояла темная опочивальня. Спящий муж – ладушка, ненаглядный, единственный... а она бормотала, бормотала, страхась разбудить и не в силах уснуть, все пыталась из гнилых нитей мертвых слов сплести кольчугу заговора. Все отказывалась поверить – Сила ушла навсегда. Знать и не мочь – страшная месть

¹³ Заходных – западных.

¹⁴ Поруб – тюрьма.

¹⁵ Кат – палач.

¹⁶ Ночная мара – морок, видение, кошмар.

¹⁷ Заборола – крытые галереи для стрелков наверху крепостных стен.

отступнице. Для него, ведь все для него. Ей сказали – хочешь быть с ним, пойти под венец – забудь, навеки забудь лесную волшебу, бесовские кошуны, поганых кумиров.¹⁸ Забудь имя, нашептанное повитухой в закоптелой баньке¹⁹ лесной веси Ласково,²⁰ под возню обдерих²¹ под полком и злой визг голодных удельниц над высланной мхом крышей.²² Новое имя – вот плата. Не за княгинин венец, не за аксамитные²³ платья-летники²⁴ да собольи шубы, не за хоромы белокаменные – за счастье всегда быть рядом с ним. Глаза в глаза, рука в руку, сердце в сердце. Новое имя – цена счастья. Новое имя, отнявшее переданную когда-то в той же баньке²⁵ в глухую ночь на Карачун²⁶ Силу.

Она же могла, могла, могла! Вот сейчас вспомнит нужное слово, приставит другое – и ляжет на эту широкую, сильную, любимую грудь, мерно дышащую во сне, незримая, невесомая броня – крепче камня горячего, легче тенет паучьих...

Нет. Могла та, другая. Не княгиня. Та касалась – и зарастали без следа розовой детской кожицей страшные раны. Роняла слово – и сворачивала с пути тяжелая лютой грозой черная туча, обходя жатву-страду стороною. Взмахивала рукою – и метался по поляне визжащим, рассыпающимся прахом клубком злобный шатун-мертвяк. Она, другая, могла. Когда-то могла. Пока не захлебнулась в холодной воде купели – купели, родившей княгиню. А княгиня не могла ничего. Даже защитить его. Или его детей. Ведь чего проще – несколько слов, несколько движений рук, пригоршня перышек да тройка узелков – и полетит над теремами и стенами пестрая сорока с двумя сорочатами, полетит в глухую лесную чащобу, куда никогда не добредут хмурые мохнатые лошаденки чужаков...

Нет! Слова умирали на губах, осыпались пеплом, расползались, не сплетаясь, наузы,²⁷ и перья были просто горсткой сора.

Но ее дар не совсем угас. Она слышала, как скулили в подпечках, конюшнях, баньках в смертной тоске маленькие Хозяева. Она слышала, как стонет от боли и ужаса вырванная из зимнего сна Мать-Земля. И глядя в суровые, спокойные, любимые глаза, она видела...

Лучше бы ей ослепнуть.

Приговор, страшная кара отступнице – знать и не мочь. Так ей казалось.

Дурица! Глупая лесная баба! «Страшная кара»!

Ведь еще ничего даже не началось...

От орды отделились всадники, помчались к воротам – в седых песцовых шапках, в серой чешуе лат поверх синих, как зимнее небо, чапанов. И еще один – грузный, некрепко держащийся в седле, по стеганому кафтану разметалась окладистая сивая борода.

Бородач остановился на взгорбке у ворот, и смуглые всадники в седых шапках потекли вокруг взгорбка неспешным хороводом.

Противусолонь.²⁸

¹⁸ *Кошуны* – языческие мифы. «*Поганых кумиров*» – идолов, языческих богов. Здесь и далее слово «поганый» и его производные употребляются в основном в значении «язычник, языческий» и пр.

¹⁹ «...*имя, нашептанное повитухой в закоптелой баньке*» – на Руси и веками позже описываемых времен рожали в бане, там и нарекали имя детям.

²⁰ *Весь* – деревня. *Ласково* – родная деревня Февронии.

²¹ *Обдериха* – банный дух женского рода, считался опасным.

²² *Удельница* – злой дух в виде сороки или птицы с женской головой, опасен для беременных, рожениц и новорожденных. Норовят подменить ребенка (иногда еще во чреве матери).

²³ *Аksamит* – драгоценная ткань.

²⁴ *Летник* – женское платье с широкими рукавами.

²⁵ «...*переданную когда-то в той же баньке в глухую ночь на Карачун Силу*» – передача силы и колдовские посвящения традиционно совершались в бане же.

²⁶ *Карачун* – зимний солнцеворот, самая длинная ночь в году.

²⁷ *Наузы* – амулеты, в том числе – колдовские узлы.

²⁸ *Противусолонь* – против часовой стрелки, против движения Солнца.

Каждый из них держал в правой руке что-то лохматое, круглое, некрупное. Выезжая к воротам, всадник разворачивал ношу к бойницам надвратной башни, несколько мгновений медлил, кидал на снег и лез в седельную суму за следующей.

Первая ноша летела уже на снег, и с неожиданно тоненьким детским всхлипом оседала на руки ближних боярынь да сенных чернавок свекровь-Государыня Агрепена Ростиславовна,²⁹ когда княгиня поняла.

Головы. Отобранные кем-то, знавшим в лицо, головы князей, воевод, бойцов, надежи, заступы, узорочья³⁰ города над Окой. И первой упала в снег не потерявшая и в посмертном унижении властного покоя седая голова великого князя Юрия Ингоровича.³¹ Свекра-батюшки. Государя. И рядом с ней, словно – даже сейчас! – стараясь укрыть, поддержать, защитить – братья. Сыновья. Внуки. Племянники. Старые думцы³² -бояре...

Заледеневшие глаза. Смерзшиеся волосы. Синие щеки. Черные губы.

А бородач кричал. Кричал о страшной каре Господней тем, кто в безумной гордыне вздумал своей брэнной рукой остановить десницу гневного Вседержителя.³³ О праведном царе Иоанне,³⁴ рекомом Батый, сулящем, даже сейчас, невиданную милость жителям непокорного города...

И оцепенев, внимали горожане голосу человека, недавно спешно покинувшего еще не обложенный врагом град. Голосу, что с амвона Успенского собора годами наставлял их в вере и благочестии. Голосу своего епископа, звучащему не из-под митры или клобука – из-под нерусской хвостатой шапки.³⁵

...Великую милость сулил праведный царь Бату, истинный новый Давид, посланный наказать погрязшую в гордыне и двоеверии³⁶ землю. Если без боя сейчас открыть ворота – многим будет дарована жизнь. В первую голову искусным ремесленникам, детям, не перерос-

²⁹ *Агрепена Ростиславовна* – княгиня Рязанская, погибла во время взятия Рязани Батыем.

³⁰ *Узорочье* – украшение. В «Слове о разорении Рязани Батыем» «узорочьем Рязанским» названы погибшие в битве за город воины.

³¹ *Юрий Ингорович* – великий князь Рязанский.

³² *Думцы* – участники думы, княжеского совета.

³³ «*Кто в безумной гордыне вздумал своей брэнной рукой остановить десницу гневного Вседержителя*» – упоминания о «бессмысленности» сопротивления нашествию, якобы «каре Господней за грехи», сохранились в летописях.

³⁴ *Праведный царь Иоанн* – по странному совпадению, как раз накануне монгольского нашествия с территории Византии разошлись во множестве списков рассказы о некоем могучем и праведном владыке где-то на Востоке, христианине Иоанне. Именно с ним первое время ассоциировались монголы у европейских, в том числе – русских, христиан. Впрочем, это очень быстро прошло – при первом же близком знакомстве с «праведностью» пришельцев.

³⁵ «*И оцепенев, внимали горожане голосу человека, недавно спешно покинувшего еще не обложенный врагом град*». Тверская и Новгородская летописи сообщают, что епископ рязанский покинул еще не осажденный город. «Сказание о разорении Рязани Батыем» называет его среди погибших в городе. Это дало мне возможность создать сей образ – образ типичного православного архиерея времен нашествия – далекий от всякого героизма. Вот что говорит Е. Е. Голубинский в своей «Истории русской церкви»: «Если полагать, что обязанность высшего духовенства – епископов с соборами игуменов – долженствовала при данных обстоятельствах состоять в том, чтобы одушевлять князей и всех граждан к мужественному сопротивлению врагам для защиты своей земли, то летописи не дают нам права сказать, что епископы наши оказались на высоте своего призвания; они не говорят нам, чтобы при всеобщей панике и растерянности раздавался по стране этот одушевляющий святительский голос». Он не просто «не раздавался», здесь маститый церковный историк щадит средневековых архипастырей. Они повально бежали из русских городов, бросая свою паству на произвол судьбы, на кровавую «милость» завоевателей. «Пастыри» бросали «стадо Христово», «отцы духовные» бросали «детей», «кормчие» бросали «корабли». Не последними – первыми. Глава русской церкви митрополит Иосиф в самый год Батыева нашествия бежал, оставив свою кафедру. Ростовский епископ Кирилл – «избыл» монголов в Белоозере. Епископы Галицкий и Перемышльский остались живы после взятия монголами их городов (Звонарь, 1907, № 8, с. 42–43). Добавлю от себя, что и Черниговский епископ пережил взятие и разорение своего города. Справедливости ради надо отметить, что один-единственный пример епископа, до конца вдохновлявшего людей на сопротивление, все же был – это Митрофан Владимирский, погибший в соборе города с его последними защитниками.

³⁶ *Двоеверие* – так в средневековых русских источниках называется совмещение формального православия с продолжением поклонения языческим божествам, исполнения обрядов в их честь и пр. Сейчас модно утверждать, будто двоеверие выдумали «советские антихристы» и чуть ли не лично Б. А. Рыбаков. Это ложь. Чтобы это понять, достаточно почитать хотя бы книгу Гальковского «Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси», вышедшую в 1916 году.

шим высокую ось ордынских телег. И, ясное дело, женщинам. Женщин же княжьего рода берет праведный царь под свою могучую руку.

Свояченица, княгиня Евпраксея, совсем еще юная, что стояла на самом краю бойницы, прижимая к себе захлебывающегося криком первенца, завороченно вглядывалась в растущий у ворот курган. Может, так же, как и она сама, безумно боялась пропустить, не узнать, не встретиться в самый последний миг глазами. Ее муж, Федор Юрьевич, был наследником Государя и вел сторожевой, передний полк. При последних словах епископа-толмача она вдруг вздрогнула – словно окликнул кто. Не шурясь, взглянула на зимнее белое солнце. Улыбнулась кривовато, слабо, растерянно.

И шагнула вперед.

Детский крик оборвался глухим ударом вниз, у самых ворот. Сама Евпраксея падала молча.³⁷ Повисла тишина. Споткнулся жуткий хоровод, поперхнулся, шальными глазами глядя на темное пятнышко в снегу под громадой наворотной башни, бородатый толмач-епископ. Тишина примерзла к каменным башням, к бревенчатым заборам...

И с хрустом лопнула треском доброй сотни тетив. Горожане били, толком не целясь, с мертвыми лицами рвали стрелы из тул,³⁸ рвали тетивы, рвали в кровь ладони. Рассыпались четки хоровода, сыпанули назад, к орде, прицельно огрызаясь на скаку – и кто-то отваливался от бойницы, оседа под ноги соседям, скребя по стене торчащим изо лба или глазницы древком. И ловил воздух пухлыми ладонями, вереща, как баба, как заяц, толмач-епископ, колыхая проросшей полудюжиной древков жирной грудью. И бился в снегу, крича, подстреленный конь.

Барабаны взрыкнули – раз, и еще, и еще – мерно, страшно, неторопливо. Хрипло, гнусаво звывли огромные трубы. И тронулись с места деревянные страшилы. Уверенно, спокойно, как волки к охромевшей лосихе, бьющейся в снегу. Под свист бичей, рев барабанов и труб, вой волокущих их смердов поползли к стенам. И за ними потекла замершая было орда...

– Вре-ошь! Вре-ошь, еретница, волочайка, елсовка³⁹ поганая!

Воевода не узнал этого голоса. Не могло быть такого у первого думца государя Черниговского, красы и гордости его ближней дружины – боярина Феодора.

Черниговский боярин стоял, держа перед собой оголенный меч. И острие его почти касалось еле прикрытой лохмотьями груди седой княгини.

Воевода неторопливо поднялся, не глядя видел, как поднимаются от костра, разведенного на полу пощаженной пожаром каморы государева терема, его бойцы.

И черниговцы тоже поднимались. Ближние гридни Феодора – Дамас с Романцем – стояли по обе руки боярина, держа наготове чеканы,⁴⁰ злобно зыря по сторонам: подходи, кому на тот свет невтерпеж.

А вот Феодор ничего не видел. Ничего и никого, кроме сидящей напротив молодой старухи. В нее он, может, и сам того не сознавая, тыкал мечом. Ей в лицо визгливо выкрикивал оскорбления:

– Врешь, врешь, лоскотуха⁴¹ лесная! Мученика позоришь, радехонька, что навет отвести некому! Не мог владыка, слуга Божий, к поганым переметнуться, врешь, ведьма! Ты-то, ты сама как жива осталась?! Сговорилась погань с поганью! Истинно сказано, ворон ворону глаз не выклюет!

³⁷ Княгиня Евпраксея – о ее трагической судьбе рассказывает «Сказание о разорении Рязанской земли Батыем». Правда, там самоубийство происходит в родовом селе Красное, при известии о гибели уехавшего послом к Батыю мужа Евпраксии, Федора Юрьевича. Я позволил себе несколько изменить порядок действия, перенеся события в осажденную Рязань.

³⁸ Туло – колчан.

³⁹ Еретница – колдунья. Волочайка – распутница, шлюха. Елсовка – лесная нечисть, лешачиха.

⁴⁰ Чекан – кавалерийский боевой топорик с узким лезвием.

⁴¹ Лоскотуха – лесная русалка, опасное существо.

– Все ли сказал, боярин ласковый? – Словно иней лег на клинки от безмятежности этого голоса, даже угли в костре потускнели, синевой угарной подернулись. – Не веришь мне, съезди до ворот. Там он где-то, никто его не прибирал. Ежели не побрезговали им стервятники – по печатке на пальце признаешь. А после на платье его погляди, да глянь, какие стрелы в мясе его торчат – наши али степные. А коли досадно тебе, что я, елсовка поганая, слугу Божия пережила – так ведь добро дело не опоздано. Ты, боярин, мечиком-то зря не маши. Ткни, да всего-то делов. Али секани.

Феодор словно только что уразумел, что держит в руке меч, воззрился на него, как на диковину. Он открыл рот, и воевода подумал, что знает, о чем заговорит черниговец. Невместно марать добрую боевую сталь кровью женщины, тем паче – безоружной, тем паче – явно не в разуме. Княгиня не дала ему сказать этого.

– Ты лучше секани, боярин, – все той же безмятежной поземкой прошелестела она. – А то ведь за речи твои, за разум да за вежество я, дура лесная, тебе, выблядку, язык вырву...

И никто ничего не успел. Ни воевода, ни гридни его, ни Дамас с Романцем. Лохматая молния метнулась над костром. Гнев и воинский опыт встречать угрозу ударом в два бича хлестнули Феодора. Сверкнул меч с ощерившимся на лезвии волчком – клеймом славных мастеров немского города Пассау.⁴² Тускло блеснул на яблоке процветший крест.⁴³ Лопнул, разрывая уши в ставшей тесной каморе, истошный женский вопль. Отлетев, рухнула кучей лохмотьев молодая старуха, седая княгиня. Умолк голос-поземка, а глаза давно были мертвы.

Воевода выхватил меч, слыша, как со злым свистом соколиных крыльев покидают гнезданожны клинки земляков, видя, как щетинится мечами строй врагов – недавних союзников, подмоги черниговской. А на губы рвалась, ломилась улыбка безумного, злобного счастья.

Вот и все. Сейчас все кончится. И это хорошо. Это очень хорошо. Он не смог защитить. Он не смог умереть вместе со своим городом. Он слишком слаб, чтобы мстить. Все, что он может, – помянуть их всех. Детей. Жену. Государя. Всех. Не по-христиански – древними поганскими поминками-тризной.⁴⁴ Помянуть – и захлебнуться алым, теплым хмельным вином. Как хорошо...

А первым захлебнется он. Красавец с греческой иконы, чужими глазами глядящий на немецкий клинок в своей руке. На клинок, не раз до седла разваливавший длиннокосых половцев⁴⁵ и раскалывавший вместе с головами безликие стальные болванки латинских шоломов галичан.⁴⁶

На чистый клинок без единого пятнышка крови.

– Ох, детушки вы мои, детушки... – зашелестел по каморе, лютым морозом сковывая сжимающие оружие руки, голос-поземка. – Дурища ваша мать, дура... что бы не жить ей с ладушкой в полюбовницах, не рожать вас в глухой избушке, в лесной чащобе... дорогонько стало мне имечко, дорогонько... нету лесной глупой бабе ни счастья, ни утечи, ни смерти...

⁴² «Сверкнул меч с ощерившимся на лезвии волчком – клеймом славных мастеров немского города Пассау». Волк был изображен на гербе германского города Пассау. Его схематическое изображение, т. н. «пассауский волчок», украшало выкованные там клинки, служа своеобразным «знаком качества», брендом. Популярны были клинки из Пассау и на Руси в XII–XIV веках – см. т. н. «меч святого Довмонта» из Пскова.

⁴³ «Тускло блеснул на яблоке процветший крест». Процветший крест – шести – или осьмиконечный крест с листьями и корнями – довольно часто изображался в средневековой Руси, в т. ч. и на оружии. Яблоко – часть рукояти меча, набалдашник-балансир, отчасти уравнивающий лезвие и не дающий руке соскользнуть.

⁴⁴ Тризна – ритуальное сражение во время погребального обряда у язычников (часто тризной неправильно называют погребальный пир-страву).

⁴⁵ «Длиннокосых половцев» – половцы, тюркские племена, соседи Руси, как и большинство тюркских народов, отпускали длинные волосы и заплетали их в косы.

⁴⁶ «Латинских шоломов галичан» – латинские, т. е. западноевропейские, шлемы галичан упоминаются в «Слове о полку Игореве». В описываемый период Галицкое княжество соперничало с Черниговским за обладание Киевом и отношения галичан с черниговцами были враждебными.

Она поднялась – и от маленькой седой женщины шарахнулись по стенам те, кто скакал по ночным зимним лесам на битву с вражьи полчищем; те, кто прошел сквозь убитый, разтерзанный город.

Немецкий меч бритвой срезал изрядную долю лохмотьев, бесстыже оголив грудь и верх живота.

На голом теле светлел, рассасываясь на глазах, след удара – длинный узкий синяк.

...Нижний город догорал, наполняя воздух едкой гарью и жаром, а на стенах детинца уже не осталось мужчин. Даже ремесленников. Даже холопов. Старики, бабы и дети вдвоем-втроем натягивали луки, швыряли камни, плескали в лезущие на стены косоглазые смуглые хари варом и горячей смолой, скопом сталкивали с раскатов глыбы-каменюки. Совсем уж дряхлые старухи стерегли малышей, чтоб те не мешали старшим.

Здесь больше не было чужих и своих, вольных и холопов, знати и черняди. Холопки Палашка с Феклой и боярыня Пелагея, вцепившись в деревянные вилы, опрокидывали подсушившуюся, уже жадно дрожащую под чьими-то ногами лестницу.

– Соседка, помогай! – крикнула Пелагея. – Не сдюжим!

Она повернулась к ним, кинулась, держа в руках ковш с пузырящейся, булькающей смолой.

– Ма-а-а! – отчаянно зазвенело за спиной. Княгиня развернулась – и успела вlepить черпак смолы как раз в раскосые черные глаза неведомо как влeзшему на стену чужаку. Он завизжал, мотая головой, вцепившись в нее, словно пытаясь оторвать лицо, слепо шарахнулся – и полетел вниз головой со стены, во двор детинца. На полу из плах осталась кривая сабля, которой он успел взмахнуть один раз. Один только раз.

– Мама, ты где? Ты не уходи... я сейчас встану, мам, ты не плачь, я же не плачу... мне совсем не больно, мам, правда... мы их прогоним, правда, мама? Ты не уходи только, мама... я сейчас встану, се...

– Костя! Костенькаааа!!!

На ее вой никто не оглянулся. Как недавно не оглядывалась она сама. Слишком часто рядом начинали отчаянно выкрикивать чье-то имя, бесполезно тормозя быстро коченеющие на зимнем холоде тела.

Ты могла. Когда-то ты могла. Вы так и познакомились – его принесли в твою избушку, и его раны были не лучше этой. Тогда ты могла.

«Мы их прогоним, правда, мама?»

Цена имени... Будь ты проклято, новое имя!

– Соседка, вставай! Живее! Да брось же ты его, Дево Богородице, ты ж не Бог, мертвого не подымеешь!

Княгиня подняла глаза. На нее смотрело мокрое, перекошенное лицо Феклы. Палашки нигде не было видно, рослая красавица Пелагея лежала на спине, покойно сложив руки под пробитой стрелой грудью.

– Уходить отсюда надо, соседка, – выдохнула Фекла. – Серебряные ворота ироды проломили. Одна надежда – Успенский собор. Авось Пречистая заступится, не даст на поругание. Соседка, да кинь ты его, прости Господи! О дочке думай, ему не поможешь уже!

Княгиня и холопка бросились прочь. Вокруг живых больше не было. Оскользываясь в крови, переступая через мертвых, скатились вниз. Кром вдруг стал совсем незнакомым. Где-то заржали кони, завизжал по-бабьи чужак – они кинулись прочь...

Где и как разминулись с Феклой – не помнила.

Поворот, еще поворот, перекресток... куда? Направо! Только б Аленку до Успения дотащили... только б Аленку...

Они наскочили друг на друга у поворота и закричали разом – от испуга.

– Ой, мама! – Меховой колобок кинулся к княгине, вцепился в летник между полами распахнутой шубы.

– Аленка! – выдохнула она. – Ты... ты как здесь?!

– Казни, матушка-княгиня! – повалилась в ноги старуха-нянька. – Не успели мы! Не успели – переняли дорогу. Тьма их, поганных, и все на купола золотые, что мухи на мед!

– Аленка... – бормотала княгиня. – Аленушка моя...

– Мама, а где Коська? Опять убежал, да? Он нехолосый...

Сердца у госпожи и у холопки оборвались разом. Совсем рядом заржала лошадь, грянули в намест копыта, заперхал нерусский клич:

– Кху-кху-кхуууу!!!

Они глянули друг на друга – и холопка толкнула госпожу к пленнице:

– Княгинюшка, лезь туда – эвон под дровами место есть...

– А ты?! – уже почти из-под пленницы.

Старуха глянула шальным глазом, оскалила щербатые пеньки:

– А я уведу! Сзаду-то, чай, и сойду за молодуху! Подурю уж головы-то напоследок – хоша и поганные, а все мужики! Не те мои года – в мужиках копать! – Она бросилась прочь. А еще через мгновение переулком затопило потоком конских неподкованных ног и сапог в стремянах.

Сколько они лежали под пленницей? Час? Два? День? Время она не считала с того самого мига, как запыхал Нижний город и пришлось в спешке закрывать ворота Среднего, на которые уже летела пена с мохнатых морд неподкованных лошадей.

Со сбруи одного из всадников что-то слетело и, прыгая килей-мячиком, подкатилось к их убежищу. Подкатилось и уставилось уцелевшим глазом, щерясь мертвой улыбкой.

Какое-то мгновение Аленка смотрела на отрубленную голову широкими белыми глазами.

Потом... руки княгини схватили пустоту. Меховой колобок вылетел из-под пленницы и с заполошным визгом заметался под ногами у коней.

Княгиня выскочила вслед. Лишь для того, чтоб увидеть, как смуглая ладонь сгребла меховой колобок за шиворот и подкинула высоко в воздух...

С нее сорвали сороку⁴⁷ с украшениями, кунью шубку, ожерелье и летник. Отхватили ножом расшитые серебром и жемчугом косники.⁴⁸ Ее повалили на плахи мостовой, смуглые, волосатые короткопалые руки с треском рвали сорочку, кто-то жадно пыхтел и сопел на ней, наваливаясь, обдавая вонью нечистого тела. А перед ее остановившимся взглядом вставало одно и то же...

Синее небо. Кувыркающийся в небе меховой колобок, с выбившейся из-под воротника косичкой. И отблеск белого зимнего солнца на острие копья...

Старый Телсерг поддернул штаны и потуже затянул кушак. Ой-вой, как-кая баабаа... большая, белая... в степи таких нет. Хорошо бы в обоз отправить. Да что проку... Телсерг у нее сегодня десятый. Все равно сдохнет, только дольше промучается. Ни к чему доставлять бессмысленные страдания живому, Боги не любят. Телсерг считал себя милосердным и имел на то полное право. Он никогда никого не мучил и не пытал без приказа начальника. Собственно, и убийство не приносило ему большого удовольствия – работа грязная, но нужная. Когда сотник приказал ему давить оплошавшего в бою побратима, Телсерг сделал дело чисто и быстро – не стыдно вспомнить. Он никогда не оставлял, наконец, на потеху стервятникам тяжело раненных врагов и изнасилованных женщин. Не оставляй подранков – закон старый, как степь и тайга.

Женщина глядела сквозь него, что-то бормоча распухшими красными губами. Хорошо, ай хорошо – легко уйдет, сама не заметит. Телсерг довольно усмехнулся углом жесткого губного рта, примерился и полоснул хорезмийским ножом по длинной шее под запрокинутым подбо-

⁴⁷ Сорока – головной убор замужней женщины.

⁴⁸ Косники – украшения, скреплявшие концы женских кос.

родком, слева. Он знал, что сейчас будет, и проворно отскочил, чтоб не запачкаться бабьей кровью – дурная примета в его роду. Отскочил и недоуменно уставился на горло жертвы. Горло, на котором темнела, исчезая, белая полоса. И ничего больше!

Высокие скулы кочевника обожгло стыдом. Он воровато оглянулся. Хвала Абай Гэсэру,⁴⁹ никто не видел! Что может быть позорнее для монгольского храбреца, чем тупой нож! Узнай сотник – у него отнимут лук и булаву, нашьют на спину войлок и отгонят в степь, собирать кизяк для костров. Впрочем, какой тут кизяк, какая степь – сломают спину и бросят на обочину подыхать в науку молодым. Старик торопливо коснулся лезвия желтым длинным ногтем коричневого большого пальца, перед тем как вернуть его в ножны. Надо ж знать, сколько раз шаркнуть по клинку черным точильным камнем на привале.

И взвыл от боли и неожиданности. Обиженный недоверием клинок снес чуть не четверть ногтя, прокусил насквозь кожу и мясо пальца, скребнув по кости. Лхамо-м-мать!!!⁵⁰ Войдоод! А-а, ллессная тварь, желтоухая с-сука! Из-за тебя Телсерг дважды опозорился – плохим ударом и срамной раной от своего же оружия! Не-ет, теперь легко не сдохнешь!

Он что было силы саданул в живот, мягкий белый живот с продольной ложбинкой и глубоким пупком. Крик женщины слился с предсмертным воплем железа. Телсерг, не веря глазам, уставился на зажатую в кулаке рукоять с обломком клинка. Перевел взгляд на живот женщины – и страх степной выюгой просочился под бычью кожу куяка,⁵¹ под стеганный подлатник, под овчинный тулуп.

На белом животе темнело синее пятно. Единственный след удара руки и ножа, которым доводилось пробивать кольчуги.

– Шулмас!⁵² – прошептал Телсерг, пятясь к коню и складывая руки перед грудью в крест-кавачу с поднятыми к плечам оттопыренными рогульками мизинцев и указательных пальцев.⁵³ – Вай-улай, шулмас!!! Муу юм саашаа,⁵⁴ муу юм саашаа, муу юм саашаа!

Торопливо вскочил в седло, приласкал ременной косой плетью крутой конский круп и помчался – прочь, скорее прочь, поближе к своим, к простому, к привычному, к битве и грабежу...

Старый Телсерг на скаку возносил молчаливую молитву онгону⁵⁵ -заступнику, деду Джихангира,⁵⁶ Священному Воителю. Пусть Потрясатель Вселенной⁵⁷ вспомнит его, возмужавшего и состарившегося в походах под черно-белым знаменем! Пусть рукою своей защитит от чар злых урусутов!

Она ползла на непослушных ногах – таз словно раскололи надвое и набили горячими углями, колени разъезжались, приходилось ползти, словно кошке с перебитым хребтом. Кони чужаков проносились по ней. Ее били нагайками – из тех, что в зимней степи, бывает, сносят с серых плеч крутолобые головы некрупных волков. Совали в спину копьями, не успевая на скаку подивиться глухой дрожи древка – словно ткнули не живую плоть, а заледеневшие плахи мостовой. Кто-то, развернувшись в седле, сек стрелой – и конский бег уносил его за поворот

⁴⁹ Абай Гэсэр – мифический персонаж монгольского и бурятского эпоса, святой у ламаистов, воплощенное божество шаманистского пантеона. Почитается как дух-заступник.

⁵⁰ Лхамо – темная богиня в ламаистском и шаманистском культах, аналог индийской Кали.

⁵¹ Куяк (монг.) – панцирь.

⁵² Шулмас (монг.) – ведьма.

⁵³ «...складывая руки перед грудью в крест-кавачу с поднятыми к плечам оттопыренными рогульками мизинцев и указательных пальцев» – один из обережных жестов в ламаизме.

⁵⁴ Муу юм саашаа (монг.) буквально «Дурное, уйди прочь!» – заклинание в монгольском шаманизме, ближайшее подобие у русских: «Сгинь, нечистая!»

⁵⁵ Онгон (монг.) – дух-покровитель, его изображение или воплощение в человеке (напр., тот же Чингисхан).

⁵⁶ Джихангир (монг.) – верховный предводитель похода, в данном случае Бату-хан, Батый.

⁵⁷ Священный Воитель, Потрясатель Вселенной – Чингисхан.

улицы, не давая увидеть, как дернувшееся от удара тело продолжает ползти в каше из снега, грязи, пепла и крови. Ползти три долгих, бесконечно долгих сажени. К тому сугробу, в который чужак стряхнул с копья меховой колобок.

Доползла. Уткнулась в шубку, кровью и морозом обращенную в черный панцирь. Потянулась к ручонке, бессильно растопырившей пальчики – варежка, вязаная рукавичка, слетела, потерялась, – сжала ее в ладони, словно этим могла отогреть маленькое окоченевшее тельце.

Она не плакала. Не было уже слез. Не была – в пересохшей глотке не было голоса. Где-то орали, шаря в опустевших домах, добывая уцелевших, чужаки, ржали их кони, трещали занимающиеся пожары. Давно уже не грохотало крушившее двери собора бревно, умолкли до последнего взывавшие к дымящему небу колокола. Редкий чужак, заглянувший в глухой переулок, видел лишь тело женщины в окровавленных лохмотьях – и гнал мимо мохноногого конька. Тихо было в переулке. И бесшумным инеем оседала на русые волосы рассыпавшихся княгининых кос седина.

Сила оставила ее. Но заклатья бабки-наставницы, даровавшие неуязвимость, остались. Некому было их снять. А может, все было не так. Может, своим отречением она лишила себя только права повелевать Силой по своему усмотрению, но та осталась при ней, храня и оберегая? Или все дело было в древнем законе – Ведающая не может уйти, не передав Силы?

Княгиня знала одно – ей, отступнице, не было дозволено не только защитить мужа. Не только спасти детей. Даже в том, чтобы разделить их судьбу, чтобы умереть вместе с ними, ей было отказано.

Она не помнила пожара, не помнила, как, сыто отвалившись от руин города, уползла за оком⁵⁸ орда. Помнила, как бродила по холму, не узнавая спаленных, выпотрошенных улиц, спотыкаясь о заочеченные тела со знакомыми лицами. Как забила в эту камору и пустыми глазами глядела, как в косячатом оконце меняют друг друга дневная синь и расшитый звездным серебром черный бархат ночи. В опустелой и выжженной, как город за окном, душе эхом отзывался вой поземки за стеной.

Из забытья ее вырвали удары колокола...

*...Вы же, оставльши Мя и забывающе гору святую Мою, и та гора Сион нарицашася, и готовающе трапезу Роду и Роженцам, наполняюще черпания бесом, Аз предам вы на оружие и вси заколением падете...*⁵⁹

Словно не было крика и распри и свиста мечей. Снова все сидели в темной каморе, глядя в огонь костерка, его отсветы отражались в угрюмых глазах воинов и гасли в пустоте взгляда седой княгини. В переходе за стеной во сне фыркали кони – их, выйдя хорошенько, спрятали от мороза за стены терема, набрав воды в роднике Нижнего города да насыпав из седельных сум скупую меру пшена – конное войско пришельцев городские амбары и житницы подмело лучше всякой метлы. Все как раньше.

Нет. Не все. Чуть ближе друг к другу, к своим, чуть дальше от союзников сидели и его земляки, и черниговцы. Руки, недавно покойно сложенные на груди или сцепленные на коленях, теперь норовили лечь поближе к рукояти меча или топорщили. Да кто-то по-иному поставил ногу, повернул локоть – и как встала от стены к стене поперек каморы незримая глазам третья. И толще всего эта третья стена была против того места, где глядела сквозь огонь не отражающими его блеска глазами седая княгиня.

– Брате Евпатий, – не отрывая глаз от костра, промолвил Феодор. – Прошу тебя, не считай меня за врага.

⁵⁸ Оком – горизонт.

⁵⁹ «Вы же, оставльши Мя» – цитата из «Слова Исайи пророка истолковано Иоанном Златоустом о поставляющих трапезу Роду и Роженцам».

Помолчав, воевода медленно наклонил голову в прилбице⁶⁰ рысьего меха. Нечего новых врагов плодить – на наш век старых хватит и, что горше всего, еще останется. Иное дело, он и прежде не считал Феодора другом, хоть, по чести, до этого вечера не слыхивал от черниговского боярина дурного слова. И уж подавно не стать им друзьями после яростного крика в тесной каморе. После немецкого клинка, поднявшегося на сноху Государя.

– Рад, брате Еупатий, что не даешь ты воли гневу, христианина недостойному, мне, грешнику, в пример и в науку, – тихо проговорил красавец боярин. – Прими в благодарность совет мой. Сам видишь, нечего здесь уже защищать и некого. Знаю, думаешь мстить за град свой – но по силам ли тебе это? Воинов твоих и две сотни не будет. И их, и себя погубишь. Кого этим воскресишь? Кого порадуешь, кроме Дявола, ликующего на погибель христианскую? Мой же Государь, великий князь Михаил Всеволодович, только рад будет и тебе, и дружине твоей. И княгиня Феврония без милости его не останется. За тех же одноземельцев ваших, что без исповеди, покаяния и причастия Святых Тайн смерть мученическую приняли, всем Черниговом будем Бога молить...

Седая княгиня только подняла голову от костра, поглядела на боярина пустыми глазами и снова опустила их к огню. Помолчал и воевода, не отрывая глаз от багряных угольев.

– Благодарю за честь, боярин, – наконец заговорил он. – Только некуда и незачем мне ехать. Здесь мой Государь погибал, пока я у твоего за гостевым столом сидел. Здесь сыновья мои полегли, раньше меня на битву поспевши. Здесь... здесь жена моя, коей я перед алтарем защитой и опорой быть клялся, защиты моей ждала, да не дождалась. Вся жизнь моя с моим городом на дым сошла, в Оку кровью вытекла. Ты мертвеца к государю своему в дружину зовешь.

– Побойся Бога, Еупатий! – боярин осенил себя крестным знаменiem. – Грех себя до смерти хоронить.

– Чего мне теперь бояться? – воевода не усмехался. – У меня нынче одно дело – до могилы быстрее добраться да побольше гостей незваных с собой утащить. А дружину я не держу. Кому не охота за мертвецом в могилу идти – зови к себе.

Феодор хотел вновь что-то сказать, но его опередили.

– За что срамишь, воевода? – Голос гридня звенел от сжатого стальной самострельной пружиной⁶¹ гнева. – Или бросали тебя когда? Или не наш город сожгли, не нашу родню погубили? Коли гости, вместо блинов с пирогами на бой угодивши, домой собрались – скатертью дорожка. Мы тебе, воевода, присягали. За тобою хоть в могилу, хоть в само пекло.

Последние слова потонули в лязге – разгневанные черниговцы поднимались, кольчужные рукавицы вновь ложились на рукояти мечей.

– Стойте! – повысил голос Феодор. – Сидите, где сидели!

Его гридни, ворча сквозь зубы, вновь опустились на застеленную чепраками лаву.

Напряженную тишину нарушил голос княгини:

– Воевода, я допрежь от тебя пустых слов не слыхала. Коли не побрезгуешь после мудрого боярина лесную дурищу послушать – знаю я Силу, что тебе пособит.

Воевода молча повернул к ней голову. Седая княгиня по-прежнему глядела в огонь, но голос ее будто оживал, оттаивал:

– Небось думаешь, совсем дурища одичала, себе не помогла, а мне подмогу сулит? Не о моей Силе речь, воевода. Моя не то ушла, не то накрепко от меня затворилась. Место тут есть, недалече... – Она зыркнула сквозь дым на черниговцев, усмехнулась углом мертвого рта, так что послышалось – льдинки с хрустом и шелестом осыпаются с губ.

⁶⁰ Прилбца – подшлемник, шапка, на которую надевался шлем, призвана была амортизировать удары. На Руси обычно изготавливалась из рысьего или барсучьего меха.

⁶¹ Самострел – арбалет. Во времена нашествия уже были известны на Руси.

– Древнее место. Сильное. Ведомо мне, как то место разбудить. Если где нам с тобой, воевода, и помогут – то там. Только торопиться надо. Который нынче день? – вдруг резко спросила она, и воевода подивился – в пустых глазах что-то зажглось, засветилось полуночным блудячим огнем на жальнике,⁶² да и голос больше не шелестел поземкой.

– Канун Анисьи Желудочки, – растерянно отозвался кто-то из черниговских гридней. Княгиня решительно тряхнула седыми космами.

– Время, воевода. Самое время. Тебе – месть, я... я, может, смерть вымолю. – Она поднялась на ноги, и поднялся вслед за ней воевода.

– Остановись, – вдруг сказал Феодор совсем незнакомым голосом. Не обычным своим гладким, ровным и сильным, не тем, которым недавно кричал на седую княгиню, – иным. Слова падали, словно холодные свинцовые крицы.⁶³ – Остановись и опомнись, брате Еупатий. Остановись, пока я могу звать тебя так. Звать людским, христианским именем. Ты христианин. Не пристало тебе кланяться поганым кумирам. Не пристало ждать от них помощи. На Господа единого уповаем. «Мне отмщение, Аз воздам», – сказал Он. Он наша помощь, Он наша защита, брате Еупатий!

– Где Он был? – глухо, не глядя на Феодора, спросил воевода. – Где Он был, боярин, когда горел мой город, когда в Его доме детишек и баб убивали? Или мы не были христианами? Или Государь наш не жертвовал на храмы и монастыри? Или не Его образ в каждом спаленном доме висел? Или не на Него уповали те, кто лежит сейчас на улицах? Где Он был, боярин?

– Деды их для Него от Богов и предков отреклись. Святыни старые осквернили, кресты да часовни на них поставили, – эхом отозвалась седая княгиня. – Верных кумирам братьев, как зверье дикое, в лесные чащобы загоняли. Мать моя помнила, как Муром его князь на копье брал, камнеметами стены рушил, за то, что муромцы старых кумиров держались.⁶⁴ Скольких тогда порубили – не для Него ли? Где ж подмога-то Его, боярин?

Феодор тяжело покачал головой, выставив перед собой красивую узкую длань с длинными пальцами. На княгиню он не глядел.

– Брате Еупатий... Христос не кумир поганский, от Него не откупишься требами да кровью. Надо душою Ему служить, всею душою! У вас же... вспомни ваши деревни, которыми мы проезжали. Церквей Божьих, почитай, и не видели. На всю деревню одна икона – у старосты в избе. И с нею, со святым образом на одной полке – глиняшки да деревяшки непотребные! Имени христианского не слышно – одни назвища. Крест честной на одном гайтане⁶⁵ со звериными клыками, с иной мерзостью носят.⁶⁶ Скажи, брате Еупатий, что это в деревнях только, что нет... не было такого в граде вашем! Скажи, что нагнали мне, будто князя и бояре с простой чадью⁶⁷ на непотребные игрища купальские и иные хаживали! Скажи, брате Еупатий! Да что говорить – вот, гляди, между вами поганка нераскаянная княгиней была, княгиней! А ты, ближний боярин Государев, готов за ней на капище бесовское идти, у поганых кумиров мести просить! Мало тебе, как Господь город ваш и всю землю вашу покарал за двоеверие?! Мало?..

⁶² Жальник – кладбище.

⁶³ Крицы – отлитые из расплавленной руды слитки металла.

⁶⁴ «Муром его князь на копье брал, камнеметами стены рушил, за то, что муромцы старых кумиров держались» – крещение святым равноапостольным князем Константином Муромом. Житие Константина датирует эти события 1192 годом. В житии упомянуты и «стенобитныя оружия».

⁶⁵ Гайтан – шнурок из шерсти, жил или кожи, на котором носят крест или оберег.

⁶⁶ «И с нею, со святым образом на одной полке – глиняшки да деревяшки непотребные. Имени христианского не слышно – одни назвища. Крест честной на одном гайтане со звериными клыками, с иной мерзостью носят» – почитание деревянных и глиняных идолов формально православной русской деревней местами продолжалось до XX века. На полке с иконами на русском Севере традиционно хранились деревянные куклы-панки, которые в праздники ставили на стол. Очень долго сохранялось в быту использование дохристианских имен-«назвищ». Факт ношения крестов и икон на одном ожерелье с языческими оберегами – археологически засвидетельствованный факт для XII–XIII вв.

⁶⁷ Простая чадь – простолюдины.

Воевода медленно поднял голову, и, встретившись с ним глазами, Феодор осекся.

– Значит, все это... – негромко, отчетливо звучало каждое слово, а рука указывала за окно, на озаренный яркими зимними звездами мертвый город, – все это сделал твой Бог?!

Феодор задохнулся, словно налетев в стеношном бою подвздошьем на кулак. Темные глаза широко распахнулись.

– Т-ты что, брате?! – трудно выдохнул он. – Как это – «твой Бог»? Бог – Он один, у тебя, у меня, у всех христиан!

Воевода не слышал. Перед глазами плыло.

Значит, вот как, Господи?!

Тонкопалая ручка лежит в твоей ладони, а другие ладони плещут вокруг – «Ой, Лелю, Полелю!»⁶⁸ – земля упруго толкает в босые ступни, и золотая стена пламени встает перед тобой, и девичий визг звучит прямо над левым ухом, но маленькая влажная ладошка не выпускает твоей руки ни над костром, ни на высоком холме над Окою, с которой вы провожаете взглядами десятки колышущихся огоньков на темной реке...

И потом эта ручка, уже с обручальным кольцом, уверенно лежит на поводе коня. Вы объезжаете твои владения, у околиц встречают старики, поднося на убрусах⁶⁹ хлеб – и тонкопалая ручка кидает кусочек к подножию стерегущего околицу деревянного чура...⁷⁰

И потом, десять лет спустя, вы, обнявшись, стоите у окна, солнце играет на умирающих сугробах, а голоса ваших сыновей звенят:

– Жаворонки, полетите,
Весну-красну позовите!

Значит, вот как, Господи?! Купальский костер – и ручка с кольцом на пальце стынет на каменном полу. Деревянные чуры у околиц – и десятки тел в залитом кровью снегу. «Жаворонки, полетите!» – и скорчившиеся у выломанных медных ворот мальчишки.

Может быть, маленькая муромчанка Аленка носила блюдце с молоком к подпечку?⁷¹ Или слишком звонко смеялась, когда нянька пела: «Ладушки, Ладушки, где были? У бабушки!»

«Ладушки» – это же тоже призывание кумиров, славление идолицы Лады, да, Господи?!

Что спрашивать, где Ты был – Ты, наверное, даже придержал солнце над добываемым городом, как тогда, над долиною Гаваонскою...⁷²

Дите куклу тятей назвало – так топором его по головенке?!

Да что за отец, у которого дети кукол тятей кличут?!

Государь не спрашивал, кто и как его чтит. Он бился за всех своих людей, не судя и не деля их, и чужаки прошли к городу над Окой не раньше, чем он с дружиной замертво лег в зимних полях. Не ему сидеть одесную Христа – Христу по левую руку Государя место, коли Государь не побрезгует. Не побрезгует сказавшим: «Не отнимают хлеб у детей, дабы отдать псам» – и бросившим детей на поживу степным собакам.

Что-то душило его, тянуло к земле – воевода вцепился обеими пятернями в ворот кольчуги, подлатника, свиты, рубахи, пальцы нащупали тонкий волосяной шнурок, пару раз перехватились – и яростно сжались на нагретом от тела куске бронзы.

⁶⁸ «Ой, Лелю, Полелю» – традиционный припев купальских песен.

⁶⁹ Убрус – полотенце.

⁷⁰ Чура – деревянное изваяние, идол у границы поселка или земельного участка.

⁷¹ «Может быть, маленькая муромчанка Аленка носила блюдце с молоком к подпечку?» Подпечек считался «вотчиной» домового, туда ему ставили угощение – блюдце молока.

⁷² «Ты, наверное, даже придержал солнце над добываемым городом, как тогда, над долиною Гаваонскою...» По преданию Ветхого Завета (книга Иисуса Навина, 10:12), Бог, по молитве Иисуса Навина, остановил над долиной Гаваонской солнце, чтобы дать возглавляемому Иисусом евреям добить разбитых в битве язычников.

Воевода бешено рванул сжавшуюся в кулак руку на волю из-за пазухи. Звонко лопнул гайтан, и брякнул о плитки пола бронзовый крест.

И тут же словно град посыпался в каморе. Воевода не слышал, как подошли и встали рядом его гридни. Летели на пол бронзовые, медные, каменные кресты, распятия, образки.

Они сказали свое слово – и держали его. Они шли с ним и за ним. «Хоть в могилу, хоть в само пекло».

– Брате Еупатий! Братья! Стойте! Опомнитесь! Что вы де... – Голос Феодора сломался, он замолк, спрятав лицо в ладонях. – Господи, прости их, Господи! Прости их, ибо не ведают, что творят!

*Феодор глаголаста им: «Не достоинъ христьяном ходити сквозь огонь, ни покланятися емуже ся сии кланяют; тако есть вера христьянская – не покланятися твари, но покланятися Отцю и Сыну и Святому Духу».*⁷³

Он смолк и несколько мгновений стоял так в наступившей тиши. Наконец бессильно уронил руки – лязгнули о чешуйчатые бока рукава кольчуги, безнадежно покачал темноволосой головой:

– Прощай. Прощай, воевода. Помолюсь за тебя и твоих людей Богу – да не судит вас строго в безумии вашем. Прощай. Идемте, братие. Не с кем тут воевать и не за кого.

Один за другим, не глядя на недавних союзников, так и не ставших соратниками, выходили черниговские гридни вслед за боярином из каморы, стукотали по полу перехода копыта их коней. Лишь один, темно-русый с гладко выбритым подбородком, по-прежнему сидел, где сел, на мохнатом чепраке-медведне.

– Эй, а ты чего? – окликнул земляка предпоследний черниговец, чернобородый, не иначе половецких кровей – медный загар скул, степная гортанная медь в голосе.

– Идите-идите, – зыркнул из-под пшеничной брови синий глаз.

– Не слышал, что боярин сказал? – насутился чернобородый.

– Я тому боярину не холоп. А присягу давал в бой за ним ходить. От бою за ним бегать – той присяги не помню.

Чернобородый зло плюнул, выбежал. За стеной осекся перестук копыт, поднялся недобрый гомон, перекрытый сильным голосом боярина: «Пусть... Бог судья...»

Гридень, спрашивавший воеводу, за что тот их срамит, и мало не первым вслед за ним рванувший с шеи гайтан, шагнул вперед.

– С нами, что ль, идешь?

Черниговец, не поворачивая головы, глянул искоса:

– Догада...

Гридень нахмурился:

– Крест сымай.

Черниговец враз шевельнул правым плечом и правым углом губ под золотистыми усами:

– Не могу.

– Сымай-сымай, – с грозной лаской подбодрил гридень. – А то иди, своих догоняй.

– Демьян, – уронил воевода. – Не хочет – не надо.

Гридень обернулся, сердито открыв рот, но черниговец опередил его:

– Воевода, я ж не говорю – «не хочу». Не могу я.

Он неторопливо засунул пальцы за ворот, потянул – и запрыгал, стучась в кольчугу, серо-желтый дыроватый камушек, из тех, что в окрестных деревнях звали Кикиморой Одноглазым.

– Не то чтоб у нас на Северщине все прям-таки старую веру позабыли, – раздумчиво заметил синеглазый черниговец, прибирая оберег обратно за пазуху. И уже без усмешки при-

⁷³ «Феодор глаголаста им: „Не достоинъ христьяном...“» – из «Повести о убиении святого благоверного князя Михаила Всеволодовича и боярина его Феодора».

бавил: – Коли и впрямь тот мертвяк Распятый на Русь ту нелюдь напустил, чтоб старую веру на корню извести, мне с вами надо. Да и не чужой я вам...

– То есть? – поглядел на него воевода.

– То и есть, что мой отец с государя вашего батюшкой на тех половцев ходил. Еще песню о том сложил. Ходыней его люди звали.⁷⁴

– Тебя-то как звать, «не чужой»? – опять подал голос Демьян.

– А Чурынею кличь, Догада, – разрешил черниговец, вновь искоса скользнув взглядом по гридню.

За спиной Демьяна не то хмыкнули, не то крякнули. Откликаться молодцу на назвище до самой смерти.

Не так уж и долго...

– Не расскажешь, госпожа, про место то? – робко подал голос молодой гридень. – Ну, где... где Перуна звать будем?

Седая княгиня повернулась на голос – то ли тень бросил на ее лицо костер, то ли и впрямь коснулся мертвых губ холодной ладошкой призрак убитой улыбки.

Чурыня-черниговец крякнул и покачал головой.

– Сказанул ты, брате... – Он сызнава потрянул головою. – Кто ж середь той зимы Перуна зовет...

– Ни зимой, ни летом нынче не докличешь Его, – отозвалась княгиня. – Смердам еще поля поливает, а в бою... кто вы Ему? Огнем не крещеные, знамено Его на плечо не принявшие... не то чужаки, не то, того хуже, богоотметники. Честен Он больно... и горд. Легко ль позабыть грязь на Боричевом, да двенадцать батогов, да хвост кобылячий?!⁷⁵

– К кому ж тогда?... – растерялся парень, но седая княгиня словно и не услышала его:

– Укладывай удалцов своих, воевода. Не легкий завтра день будет. Утро вечера мудренее.

Свернулась кошкой там, где сидела, закрыла глаза.

Воевода кивнул головой, и дружинники завозились, вставая, переходя поближе к костру.

Говорят, самое тяжелое в участи ослепшего – сны. Во снах видишь все живыми глазами – солнечный свет, строгую синеву неба, доброе разноцветье земли...

Сладкий блинный чад расплзался с поварни по всему терему. Где-то голос жены звонко отдавал повеленья дворовым холопам. А его – его ни с того ни с сего разобрала дремота. И то сказать, не больно-то выплещись в Святки. По улицам едва не до свету колобродят шумные ватаги ряженных, распевают колядки, хохочут, кричат, свистят, дудят в берестяные рожки, вертят трещотками, трясут шаркунцами,⁷⁶ ухают в бубны. Ромка с Егоркой с утра по углам шушукались – не иначе и сами изладили личины и с вечера убегут с какой-нибудь ватагой кликать Коляду, Овсенья да Плуга.

Не государеву воеводе, понятно, стеречься до утра – не залили бы водою двери в избе, не заткнули бы дымоволок⁷⁷ или, злее того, не кинули б в него дохлую ворону, не взволокли бы сани на крышу – снимай потом. Так посадские парни над соседями шутят. Иное дело – ряженные на двор валом валят. Кто ж одарит, кто угостит щедрее, чем передние люди, государевы

⁷⁴ «Мой отец с государя вашего батюшкой на тех половцев ходил. Еще песню о том сложил. Ходыней его люди звали» – отцом рязанского Великого князя – по крайней мере, по версии «Повести о разорении Рязанской земли Батием» – был Игорь Святославич, заглавный герой «Слова о полку Игореве». В том же «Слове...» упоминается бегло некий Ходыня – по предположениям ряда ученых, это «автограф» автора поэмы.

⁷⁵ «Легко ль позабыть грязь на Боричевом, да двенадцать батогов, да хвост кобылячий?!» В 988 году, во время крещения Киева, изваяние Перуна, привязав к конскому хвосту, ритуально протащили по Боричеву взвозу в Днепр, при этом двенадцать княжеских слуг колотили идола батогом.

⁷⁶ Шаркунцы – плетенные из лыка погремушки.

⁷⁷ Дымоволок – отверстие для выхода дыма в курной избе.

ближики?⁷⁸ Вот и прыгают по двору кто в чем – вон «половец» натер лицо сажей да привесил косу из конского хвоста, а шапка-то, поди, настоящая, половецкая, может, даже с бою взятая. А вон девка влезла в портки, накинула армяк, по-мужски запахнув, усы мочальные прицепила, косу под колпак завернула. Ох, стоять дурехе на будущей седмице на коленках под образами, твердить раз по шестьдесят: «Богородице, дево, радуйся». Вон и медведь – отсюда не разберешь – живой или верзила какой под звериной шкурой мычит. Рядом с ним «коза» деревянной башкой вертит, впереди малец скачет в меховой котовьей личине – может, горшени какого посадского внук, а может, и боярич, поди разбери. Святки!

Вот милая и старается. Не на один двор напечь-наварить надо, никого ведь со двора без угощения не отпустит. И когда успевает только, семейшка ненаглядная, труженица неустанная...

А вечером с сыновьями и ближними слугами на всенощную. И свечка будет гореть в ее тонких пальцах – одна из сотен и сотен в огромном Успенском соборе, отражаясь в обручальном колечке. И он – прости и помилуй! – глядя на нее краем глаза, порою и позабудет, Кого ради они собрались сюда, Кого славят многоголосый хор певчих... и будет видеть и помнить только это тонкое, почти детское родное личико с губами-вишенками и огромными голубыми глазами в восковом свете свечей.

Зародилась Коляда-а
Накануне Рождества-а!

– затынули во дворе. Опять, стало быть, вставать, выходить, накинув шубу да шапку, на крыльцо и, улыбаясь, принимать хвалебные песни да глядеть, как женушка одаривает колядовщиков вкусной снедью.

Скрип половиц под коврами – подумалось неуместное «будто скрип снега». Идет, родная, во двор звать. Воевода прикрывает глаза. Пусть подойдет поближе, пусть тронет за плечо – чтоб можно было вскочить, подхватить на руки, закружить по горнице. Как год, как два назад, как все эти пятнадцать лет счастья!

– Вставай, воевода. Месть да могила заждались, – холодная рука легла на плечо, холодный голос, как сухим снегом, царапнул уши.

Врут люди. Не сны самое тяжелое для ослепшего. Пробуждения. Когда каждое утро вновь безжалостно вышвыривает из-под синего неба в черную тьму.

Терем сгорел. Маленькая ручка с кольцом, примерзшая к каменным плитам собора, никогда не ляжет к нему на плечо. Те, кто пел колядки по улицам и псалмы в Успенском соборе, лежат под снежным саваном, и некому их отпеть, некому оплакать, кроме поземки.

Выстыла пустая горница, не удержала тепла шкура-чепрак, которой занавесили ставшее дымоволоком окно. Дотлели головни в костре. Холод быстро стогнал остатки сна.

Гридни поднимались с постелей из чепраков и седел, руки без мыслей совершали привычное, утреннее, в кровь вьвшееся за годы походов, войн и охот – оправляли ремни и застежки, проверяли оружие в ножнах. Седая княгиня не торопила – стояла в стороне, у стены, и смотрела с равнодушием, подгонявшим злей любых слов.

Серело за окном.

⁷⁸ Ближики – приближенные.

Глава 2

Медведь-Камень

*...Бысть во граде Переславле камень за Борисом и Глебом в боярку,
в нем же вселился демон, мечты творя...⁷⁹*

Воевода встал, вышел в переход, где дремали стоя дружинные кони. Прошел мимо них, вышел малой дверью на двор. Зачерпнул ладонью снега, растер по лицу, захватил губами. Во рту посолонело. Воевода стиснул кулак, прикрывая глаза.

У снега был вкус золы и крови.

Скрипнуло за спиною – ржавыми дверными петлями да снегом.

Воевода повернулся к княгине:

– Госпожа, приказывай. Куда нам идти нынче?

– Какие приказы, воевода... слышал ли про Пертов угор?⁸⁰

Воевода, помолчав, кивнул. Говорили, до недавних пор жили при древнем месте хранители, и каждый нарекал сына Пертом⁸¹ – а иные шептались, что был Перт один – старый, как каменный топор, которым били на угоре жертвенный скот, били с тех пор, когда в этих лесах не знали железа. Много говорили о Пертовом угоре, да мало хорошего. Место было не из тех, что поминают к ночи, – и хоть казалось уже, что теперь, когда не осталось ничего – ни города родного, ни Государя, ни друзей-дружинников, ни семьи... ни жизни самой, – что теперь нечего уж бояться, а старая опаска, оказывается, была жива. Воевода придавил ее, словно пугливую мышь сапогом. Мертвецу нечего бояться дурных примет, а где страх, там и сила. Сила, что поможет отомстить...

– Туда, значит, поедем.

– Не спеши, воевода, – качнула седыми волосами муромская княгиня. Она снова куталась в воеводин плащ. – Не все так просто. Проводник нам понадобится.

– Проводник? – Много ж чего еще осталось на заснеженном пепелище его души. Теперь воевода почувствовал что-то вроде удивления. Впрочем, не живое чувство, а так – словно смотришь на занесенное поземкой мертвое лицо, вспоминая, каков был человек.

– Не то думаешь, воевода, – чуть покривились стылые губы. – Знаю я до Пертова угора дорожку, и ты знаешь, и в дружине твоей, поди, не один – не сам, так с чужого слова слыхивал. Только мы туда не гулять едем, не на угор любоваться. Угор – дверь, а за дверью сила, что нам с тобой надобна. Вот чтобы в ту дверь постучать, да так, чтоб открыли, проводник и нужен.

– А ты, госпожа, как же?

Блудячие огоньки, отражавшиеся в темных холодных омутх княгининых глаз, дернулись, будто от боли.

– Ты, воевода, меня вчера слушал или нет? На Пертовом угоре ты, прости уж лесную дуру на прямом слове, никто, чужак. А я – я хуже, чем никто. Отступница я. Вот и выходит, что без проводника нам на том угоре делать нечего.

⁷⁹ «...Бысть во граде Переславле камень». Из жития святого Иринаея, про почитаемый Синий камень у города Переяславля. Невзирая на неоднократные попытки его низвергнуть или замуровать в стену церкви, Синий камень по-прежнему лежит там, где лежал, и к нему по-прежнему ходят люди.

⁸⁰ *Пертов угор*. Рассказ о Пертовом угоре большей частью основан на местных легендах Шиловского района Рязанской области.

⁸¹ «Жили при древнем месте хранители, и каждый нарекал сына Пертом». Под Минском до начала XX века функционировало святилище, где совершала обряды одна и та же семья, мужчины в которой из века в век звались Савастеями. Савастеев хоронили на отдельном кладбище, а не как христиан.

Рассветное серое небо тронуло розовым – словно наледь с кровью да сажей сковала и небо над мертвым городом.

– Где ж нам его взять? – спросил воевода, глядя на небесную наледь. – Кроме тебя, госпожа, у нас кумирник один Чурыня, так он черниговец.

Вместо ответа седая княгиня подняла руку, указывая на громаду Успенского собора. Башни его уже зарозовели, а на верхушках позолоченных крестов зароились искорки – первые отблески невидного с земли солнца.

– Там наш проводник, воевода.

Воевода покрепче придавил сапогом вновь заскребшуюся под подошвоймышь-опаску, чтоб кости хрустнули у скаредной твари. В соборе живых не было – только мощи, выкинутые из распотрошенных рак жадными до добычи чужаками, да изрубленные тела искавших защиты у Пречистой горожан...

Его сыновей. Его жены... Воевода снова прикрыл глаза, словно ища в темноте под веками облегчения.

– Там он, – зашелестел из темноты голос-поземка. – Под алтарем лежит. Слыхал ли, воевода, как собор этот ставили? Про Медведь-камень⁸² слыхал?

Воевода кивнул рысёй прилбицей. И впрямь, поминался в тех сказах Пертов угор.

Ста лет не минуло, при дедах было – Государь Глеб Ростиславович возводил Успенский собор, и, говорили, тогдашний владыко, Ефросин, отказался благословить его – покуда оскверняет землю бесовское гнездо на Пертовом угоре. Сын Государев, князь Владимир Глебович, вызвался разорить кумирню. Шептали, будто и последнего Перта вез с собою молодой князь в город, вез, да не довез. У Тимошкиной веси,⁸³ хмельной и веселый, спросил связанного кудесника – мол, а мне-то что твои кумиры пророчат? Будто бы посмотрел исподлобья на молодого князя ведьмак и проронил: «Горе дома найдешь». Разъярился молодой князь, покинувший в тереме жену на сносях, велел гридням утопить Перта в ближнем озере. А приехав – посмеялся над злым предсказаньем. Сына родила ему княгиня, и назвали княжича по славному деду – Глебом. И часто, говорили, вспоминал слова Перта князь Владимир и смеялся над ними. Говорили, смеялся он и в тот день, когда рассказали ему, что сын его, Глеб, стакнувшись с половцами, перебил созданных на пир-братчину в честь Ильина дня братьев.⁸⁴ Страшным смехом смеялся постаревший князь, повторяя: «Горе дома найдешь!» Так изнемог от смеха, что слег и не встал больше.

Но не одно предсказанье-проклятье последнего Перта привез тогда в город молодой князь, тезка святого. На дровнях привезли тогда с Пертова угора синий Медведь-камень. И про тот камень рассказывали тоже всякое. Рассказывали, как нутужно шли кони, как надрывались они и падали, как срывался с дровен сам камень, норовя покалечить, как вязли в земле полозья, как на ровном недавно пути проступали камни, ухабы, древесные корни, как осел и поплыл под дровнями берег, и синий камень едва не сорвался в Оку, и сам князь тянул тогда дровни вместе со своими людьми, а двое – так и канули в реку с оползнем. И совсем тихо гово-

⁸² «Медведь-камень» – если так можно выразиться, собирательный образ почитаемого камня, принадлежащего к категории т. н. «синих камней» (с отдельными чертами другой категории таких камней – т. н. «следовиков»). Основным прототипом был Синий камень у села Тырново Шиловского района, кое-что взято от Синего камня с Плещеева озера, а также от других священных камней. Очень часты рассказы о том, как противятся подобные камни попыткам их передвинуть, о печальной участи потревоживших их покой, о том, что при возвращении назад камень будто бы становится легче, о страхе, который он способен навевать на людей. Такие камни часто старались вмуровать в стены церквей.

⁸³ «У Тимошкиной веси... велел гридням утопить Перта в близнем озере». Рядом с селом Тимошкино Рязанской области по сей день существует Пертово озеро. По преданию, туда низвергся нечистый по имени Перт, потеряв Синий камень. Поскольку христианство рассматривало волхвов-язычников как «воплощенных бесов», то я и превратил духа Перта в волхва Перта.

⁸⁴ «Глеб, стакнувшись с половцами, перебил созданных на пир-братчину в честь Ильина дня братьев» – это печальное событие произошло в 1217 году.

рили – как тяжело было идти рядом с камнем или сидеть на дровнях, как страшно было ночами, когда душили спящих ночные мороки, один лютее другого, так что бывалые воины кричали во сне, будто дети. И отец воеводы каждый год ставил свечу своему ангелу-хранителю, святому преподобному епископу римскому Льву, что не взял его с собою тогда молодой князь. Потому как не пришлось потом завидовать никому из тех, что привезли Медведь-камень.

Но сколько бы бед ни стряслось дорогой, а камень привезли и замуровали под алтарем возводящегося собора. Там он и лежал по сей день. Под кирпичами, под наборными узорчатыми полами, под грудами окоченевших тел.

– Вижу, воевода, уразумел ты, о чем речь веду, – прошелестело у плеча. – Посылай своих молодцев по дворам – пешни⁸⁵ собирать, молоты да заступы. И дровни пусть поглядят – коли упаслись где они от пожара. Вызволим Синь-Медведушку – авось и проводником нам послужит.

Пешни да молоты с заступами сыскались скоро – в княжеской кузне. Чужаки разобрали лишь то, что годилось на оружие. Дровни же выволокли из Среднего города – огонь не тронул их, стоящих посреди улицы.

Кто-то пытался довести до ворот детинца нехожалых стариков-родителей да жену на сносях.

Не довез. Там они и лежали, пока гридни не сняли бережно скованные морозом, изуверченные тела, не отнесли их на обочину.

Не было времени плакать. Не было времени проклинать или просить прощения. Даже скинуть с саней пропитавшуюся кровью солому. Только молча сцеплялись зубы в немом обещании не прощать...

Воевода вошел в собор первым. Нелегко рвануть с шеи крест – втрое тяжелей подтвердить движение руки делом. И воевода и на это смертное дело шел, как привык на боях и в охотах – первым. Шли за ним его дружинники, переступая через тела женщин, детей, стариков, отводя лица от взирающих со стен ликов. Их отцы, их матери, жены, сестры, дети лежали тут. Шла рядом молодая старуха, седая княгиня, крепко зажмурив глаза, шаря перед собою руками, будто слепец в вечной ночи своей – и ни разу ее нога не коснулась мертвой плоти.

– Здесь... – проронила она наконец. – Здесь бейте.

Воевода размахнулся тяжелым ковадлом, ударил, круша цветной узор. Замахнулся снова. Рядом брызнула смальта из-под пешней и заступов.

Что-то словно толкнуло его. Будто кто-то окликнул – безмолвно окликнул по имени. Он остановился, подняв голову. Рядом опускали орудия и тоже запрокидывали лица дружинники – не один он, верно, почувствовал тот толчок.

Сверху, озаренное золотым светом низкого утреннего солнца через узкие окна барабана, смотрело на них из-под купола лицо Вседержителя. Огромные черные глаза, плотно сомкнутые губы, смолистые волосы стекали на плечи, правая длань была вздернута, казалось, не в благословении – останавливая, запрещающая, гоня. В левой была раскрытая книга, и воевода, впервые за все годы, что приходил сюда, вчитался в ее строки:

«Приидите ко Мне, страждущие, и Аз упокою вы».

Оглянулся вокруг. На темные груды тел. На черные пятна на стенах.

Воевода молчал. К чему слова, Он услышит и сказанное в душе – так учили священники. А и не услышит... невелика потеря.

«Ты не помог. Ты не помог им. Теперь я хочу от Тебя одного – не мешай».

Он оторвал взгляд от черных глаз и снова взмахнул ковадлом. И рядом ударила пешня в руках Догады, и остальные ударили в лад, словно прорывая плотно сомкнутый вражий строй.

⁸⁵ *Пешня* – тупой колющий наконечник на острой палке, предшественник лома.

Проломив смальту, добрались до кирпичной кладки. Тут дело пошло легче. Седая княгиня стояла рядом, указывая, где и как бить.

И наконец из-под рыжей крошащейся коросты обожженной глины проглянул бок камня.

Не синим он был – серым. А вот на медведя походил. Волнами шла каменная плоть, как шкура складками, и чуть матово поблескивала в падавшем сверху дневном уже свете, будто шерстинки на живом звере.

Воевода вдруг отшатнулся, чуть не выпустив из руки скользнувшую во враз вспотевшей ладони рукоятку ковадла. Метнулись в стороны и другие дружинники, лишь Чурыня-черниговец остался на месте, да и тот ухватил пешню наперевес, будто рогатину.

Угрозой мощно и страшно пахнуло от камня – словно ощерилась в лицо неведомо откуда взявшаяся медвежья морда, морда обозленного неволей и голодом пуще зимнего шатуна зверя. Воевода словно видел эту громадную морду, в шрамах и залысинах, пену на черных жестких губах, красные глазки, прижатые уши с рваными краями, словно ощутил тяжкий дух из оскаленной пасти. Рука сама потянулась к мечу – хоть и говорил разум, что с этим ничего не поделаешь привычной боевой сталью.

Серой птицей метнулась рядом седая княгиня, упала на серый каменный бок, распласталась, прижалась к нему ладонями, лицом, телом закрывая, сдерживая, зашептала жарко:

– Зверушко мой, любимый, тихо, тихо, зверушко... друзья это, друзья, добрые люди, домой сейчас поедem, хороший мой, слышишь? Домой, к Хозяину нашему... Тихо, хороший мой, тихо...

Тело ее тряхнуло люто – словно и впрямь оседлала мешок с диким зверем, но она продолжала жаться к камню, гладить его, шептать, а они стояли рядом, замершие, настороженные.

День назад. Только день назад воевода счел бы безумной кликушей женщину, говорящую с камнем, глядящую шершавый бок валуна, как трепещущую плоть норовистого конька. Только день назад принял бы за дурную шутку, скажи ему кто, что камень способен злиться, что он сам шарахнется от него прочь, увидев звериный оскал в серых неживых складках.

День назад. День назад в его жизни не было чистого неба над мертвым городом, ручки с кольцом на пальце, сорванного креста. День назад душа его не была обугленной берестой, черной трубкою обнявшей пустоту – пустоту на месте того, что он любил и берег. На месте его жизни.

Наконец княгиня поднялась, отошла в сторону. Камень больше не исходил угрозой, хотя чувствовалось рядом присутствие, словно пристальный взгляд. Не людской, не звериный – каменный.

– Копайте дальше, – проговорила она. – Только бережней, воевода. Не задеть бы его. Они это и так не любят, а он... голоден Синь-Медведущка, воевода. Голоден, зол на заточенье. И это все... что тут было – чуял он. Чуял, как их тут убивали. Впрочем, может, и к лучшему оно...

И, отвечая на взгляд воеводы, добавила тихо:

– Жив он, и в памяти. Худо было б, коли заснул. Плохой бы из него вышел проводник.

* * *

Камень обрыли где-то к полудню. Размером он вышел не с матерого медведя – с медвежьего подростка-пестуна, свернувшегося в клубок и прикрывшего морду лапой.

Там, где быть лапе, отпечатался в камне глубокий медвежий след с когтями.

Вагами подцепили Медведь-камень, подняли над ямой. На катки из обугленных бревен повалили и покатали до дверей, относя с пути мертвые тела. И последними сам воевода отодвинул от выбитых дверей двух сынов своих. На руках отнес в сторону, стараясь не глядеть в осунувшиеся, посиневшие лица.

Обгорелые бока катков оставляли на серой шкуре Медведь-камня черные полосы.

– А говорили, неподъемен, – выдохнул с облаком пара, упираясь ладонями в шершавую каменную шкуру, кудлатый гридень Вавило. – А он вон как ладно идет...

– Не сглазь, – откликнулся с другого боку синего камня Демьян-Догада. Чурыня Ходынич только хмыкнул, а княгиня... Воеводе померещилась на ее губах улыбка. Словно тень-навка, которую только краем глаза и увидишь, а глянь в упор – и нету ее...

У соборных дверей вновь поддели вагами серые бока Медведь-камня, перевалили с катков на заскрипевшие под тяжестью дровни. Ладно ли, не ладно шел камень – а упарились все. Памятуя отцовы рассказы, хотел запрячь четверых коней – княгиня отмолвила: «Двух достанет, воевода».

Двинулись.

Не было уже времени передвигать с дороги мертвые тела, и только скулы сводило от хруста мерзлой плоти под тяжелыми полозьями.

Воевода не просил прощения – он сам себя не прощал. Не прощения мертвых ждала душа – мести за них.

Не должны ходить по земле сделавшие это с его городом. С его землей.

Когда выехали за стены, воевода остановился. Хотелось соскочить с коня. Хотелось сдернуть прилбицу, поклониться обугленному, засыпанному телами холму, сказать: ждите, мол. Воевода не стал. Он один раз уже уходил за подмогой. Мертвым не нужны пустые обещания. А если все удастся... если удастся – мертвые узнают об этом.

Взяли на восход, по старой дороге на Исады – злосчастный городок, что залил братней кровью князь Глеб. Пусты и мертвы ныне были Исады – те же пепелища, те же тела, хоть и было тел тех не в пример меньше, чем в родном городе. Здесь больше брали пленных – чтоб гнать их потом на стены города Государя, впереди идущей на приступ орды.

Летом до Пертова угора добирались вдоль правого, полуденного рукава двоившейся у Исады Оки, правым берегом. Так ехал молодой князь Владимир Глебович, тем же путем и возвращался с пленным ведьмаком и синим камнем. Нынче же не было нужды повторять его путь, проезжать Тимошкину весь и озеро, нынче называвшееся Пертовым, – озеро, с тех пор, словно ряской, подернувшееся дурной славой – будто бы стали в окрестностях того озера пропадать люди, а иные, все же бродившие там вечерней порой, видели издали навевавшую жуть тень вроде человека, что бродила по берегам. Сейчас достаточно было переправиться по льду через Оку и двинуться дальше – берегами рассекшей пополам Струб-остров⁸⁶ протоки на веску с голядским⁸⁷ именем Юхта, прикорнувшую в снегах у озера Ратное.

В этих местах любил охотиться когда-то Государь с родичами, дружиной, гостями. И сейчас на снегу было немало следов – лосей, оленей, кабанов, лисиц, совсем уж нитяные стежки белок, куниц, ласок, лесных мышей. И таким безмятежным покоем дышал зимний лес, что оставалось только дивиться – как только не пятнают чистый снег их обугленные души.

Ехали в молчании. Шли кони – под седлами и заводные, – покачивались в седлах всадники, сидела на дровнях, рядом с Медведь-камнем, уложив на него руки, седая княгиня. Воевода даже оглянулся на нее – настолько переменилось ее лицо. Не стоял лед, но будто солнце озарило тот лед, рассыпалось искрами, хоть и ехали они спиной к снижающемуся светилу.

Уже пора было показаться из-за мыска Юхте, и заворочалась, выпуская когти, в груди тоска при виде вечернего неба, чистого, как зеркальце у губ покойника. Однако пришлое миновали этот край стороною – не было на берегу пожарища и мертвых тел. Но и живых голосов

⁸⁶ *Струб-остров* – такое название этого острова на Оке рядом со Старой Рязанью осталось еще в трудах Сигизмунда Гербенштейна, посетившего рязанские земли в XVI веке.

⁸⁷ *Голядским именем* – голядь – балтское племя, дальняя родня современных литовцев и латышей, дославянские туземцы русского Залесья. Большая часть неславянских названий рек, деревень и прочих мест в тех краях не финского, как ошибочно полагали ранее, а балтского происхождения.

слышно не было, и низкорослые лесные лаечки не выскочили из-под ворот навстречу приезжим, и избы успели выстыть.

Молчаливая, обезлюдевшая весь могла показаться ночным сном, видением. Однако воеводе доводилось видеть подобное – доезжая с дружиной в лесные чащобы, к тамошним сидельцам – вятичам, голяди, ее родне – муроме с мечерой. Лесные люди часто предпочитали уходить от грозы в болотные и чащобные потаенки, оставляя опасным чужакам пустые деревни. Юхтинский люд смутили, стронули с места неведомым чудом ушедшие от орды беженцы. Уцелевшие ратники разбитой государевой рати? Смерды, сумевшие в ночи пройти мимо дозоров чужаков? Как знать ныне... Люди собрали нехитрый скарб – и канули в лесные дебри, в топи за Ратным озером. Ищи, чужак, – найдешь свою смерть от пущенной из-под заснеженной еловой лапы стрелы, в жадной пасти волчьей ямы.

– Воевода! – окликнула с дровень седая княгиня. – Скликай удалыцов на ночлег. Здесь встанем.

Воевода развернул коня, подъехал к дровням:

– Не рановато ли, госпожа? День впустую потеряем. Засветло до Пертова угора не доедем, а к полуночи успели бы.

– Успеть, воевода, успели бы. Иное дело – что нам на том угоре делать, коли не готовы мы? Говорила я, угор – дверь. И я ее в одиночку не отворю ныне. Помощь мне ваша надобна. А чтоб помогать – вам бы поспать первым делом, и вам, и коням вашим отдых нужен. Есть у нас еще день, воевода. И день этот нам пригодится. Непростое это дело, такие двери открывать. Нелегкое.

Въехали в безмолвную Юхту сторожась – станет с лесовиков оставить отчаянных стрелков. Не оставили – крепко испугались жутких вестей, пахнувших гарью и кровью... За переметенные поземкой, той самой поземкой, что схоронила и оплакала жителей убитых городов и сел, лесные тропки ушли все.

В Юхте нашелся сеновал, еда для коней и конюшни, приют для них же. Вот амбаров здесь не было. Зерно по давней привычке, еще с тех пор, когда здесь вятичи воевали голядь да мечеру с муромой, хранили в стороне от жилья, в укромных лесных ямах-житницах.

Воевода подошел к пустой избе, чуть побольше иных – не иначе, старостиной. Не то чтобы ждал найти кого в избенке, но все же постучал в притолоку перед тем, как взяться за ручку двери. Так даже в своем доме делают – чтоб не смутить, не прогневать внезапным явлением запечного хозяина, буде тот вздумает по пустой горнице прогуляться.

Паче чаяния, на стук отозвались.

– Коли добрый человек, заходи... – отозвался из избы скрипучий дряхлый голос, и впрямь под стать кутному божку.⁸⁸ Воевода, помедлив, толкнул дверь. Вошел, нарочито неторопливо, стащил с головы прилбицу, поклонился красному углу... а потянувшееся было ко лбу двуперстие оборвал, сжал в кулак.

Хватит. Что решено, то решено.

Там, на полке, теплилась глиняная лампадка. Стоял невеликий каменный резной образок, а с ним рядом, заставляя вспомнить недавний гнев черниговского боярина, – деревянные кумиры с ладонь величиной.

– Свои вроде... – донеслось с полатей. – А говорили, от степи сила идет...

– Идет, – отозвался воевода, оббивая сапог об сапог на плетеном половике. – Только мимо вас. Окой наверх ушла. А ты кто таков будешь, чего здесь сидишь?

– Я-то? Я, боярин, здешнему старосте отцом прихожусь.

На полатах помолчали, раздумывая, называться ли незванным гостям. Да и решились:

⁸⁸ *Кутный Бог* – домашний, местный, бог родного угла, отчего дома. Упоминается в поучениях против язычества рядом с куклами «лесного Бога» и прочих младших Божеств и духов. Возможно, одно из древнейших упоминаний домового.

– Скорутой люди кличут.

– Что ж староста, – подала голос из-за плеча воеводы княгиня, – отца родного в избе оставил?

– А кто ж его, непуту, слушал... – прокряхтел старостин отец, слезая с полатей. – Оставил... Сам я остался. Много и без меня в лесу заботы станет, еще хрыча на себе таскать. Пытать же меня про укывища лесные толку нет. Помру раньше – старому много ль надо...

Подошел, глянул из седых зарослей, шуря набрякшие веки.

– Ох ты ж, Макоше-мати... – пробормотал он. – Да никак знаю я тебя, боя... Охти...

– Молчи, старик. – Воевода даже вздрогнул – так неожиданно вернулась в голос княгини ледяная тоска.

– Так как же, матушка... ты ж тогда моего огольца... меньшую сношку выходила... уж все повитухи отреклись... Благо добрым людям, подсказали... Только вот как звать... не серчай на старого дурака...

– К лучшему, Скорута, к лучшему... старое имя я отдала. Променяла. На новое. Да так променяла, что теперь и новое слышать не хочу.

Старик взлохматил седые волосы, потеревил льняной подол, так ничего и не надумал.

– А город-то что?

– Нет города, Скорута, – словно со стороны услышал свой голос. – Я по слову Государеву за подмогой ездил. А вернулся – помогать некому. Дозволишь ли переночевать?

– Отчего же... Как это – нет?

– Так. Где город был, гарь да тела неприбранные.

От повторения словно не так больно становилось это говорить.

Старик как осекся. Вопросов больше не задавал. Грядней распустили по веси, кто в какой дом. Больше всего набилось в старостину избу. Накормив да пристроив коней, люди валились спать – воевода едва успел назначить часовых. Двоих посадил у печки в старостиной избе – готовить на всю дружину в большом походном котле хлебово из остатков муки и толокна по седельным сумам.

Седая княгиня о чем-то толковала со стариком, они вместе ушли во двор. Перед сном воевода по привычке повернулся к красному углу... и тряхнул головой. Прошлое ушло. Лежало в руинах государева терема посреди мертвого города с оборванным гайтаном. Кому теперь молиться... Поднялся, вышел во двор – вдохнуть холодного воздуха да самому замерзнуть малость – после в тепле засыпать легче.

В тени у ворот блики лунного света на копье да парок изо рта выдали часового. У дровней с Синь-Медведь-камнем стояли двое – княгиня и старый Скорута. Тихо говорили меж собой. Потом седая княгиня отступила в сторону – воевода увидел, что в руках она держит тяжелый лыковый пестерь,⁸⁹ – а старик шагнул мимо нее вперед, стаскивая шапку, потом опустился на колени, ладошками и лбом припал к боку камня и так стоял какое-то время. Встал, на диво легко, вынул что-то из-за пазухи, уложил под каменный бок, снова коснулся его, повернулся и заковылял к крыльцу. Кивнул на ходу воеводе вновь натянутой на седые кудри меховой шапкой и сгинул в темноте сеней.

Воевода спустился, подошел к дровням, у которых все так же стояла княгиня.

– Мне теперь... – глухо произнес он, из-под опушки прилбицы глядя на вдову Муромского князя, – тоже... ему молиться?

– Сыскал, воевода, кого спрашивать – дуру лесную... – Княгиня глядела в сторону, потом подняла глаза: – Воевода, завтра... то, что делать будем. Ты накрепко запомни. Я всем скажу, а тебе первому, они на тебя все смотрят, за тобой идут. Так я что говорю-то тебе... завтра...

Она смолкла, молчал и воевода.

⁸⁹ Пестерь – лыковый заплечный короб с лямками, своеобразный плетеный «рюкзак».

– Не знаю, что Пертов угор со мною сделает. Хуже всего – если слушать не станет, если впустую все... об этом и думать боюсь. Но то моя печаль, не твоя. Про другое сказать хочу. Когда обряд поведу – всякое со мной может случиться. Ваше дело – не вмешивайтесь. Понял ли, воевода? Увидишь, что худо мне или еще что... не вздумай ко мне подходить! Понял ли?

– Понял, госпожа.

– Понял он, – проговорила в сторону седая княгиня. – Знал бы ты... тебя ж в малолетстве крестили... и отрекались за тебя, да и от кого отрекались-то – от сатаны вашего. А меня по-другому... взрослую, да Ведающую, волховку – тут уж поименно из меня отречение вытаскивали. От... всех. Я теперь имена их выговорить боюсь, разумеешь ли, воевода?! От кумиров наших. От наставницы, бабки моей. От той, что ее учила. Если б не он... а он рядом стоял. Помочь хотел. Чтоб мне легче было... отречься. Воевода...

Следующие слова она вырыдала – и странно было слышать этот голос от той, что спокойно рассказывала о гибели мужа и детей.

– ...От Хозяина мне отречься велели, ты это разумеешь?! Он мне был – отец, Государь, наставник – все! Как?! Как я теперь к Нему, туда?! А, воевода? – И закончила совсем уж еле слышно: – А больше и некуда... нет нам с тобой, воевода, кроме Него, помощников...

Оборвав речь, резко повернулась и пошла к крыльцу. Остановилась. Бросила через плечо:

– Уразумел ли, воевода? Что б со мной на обряде ни было – не встрейай!

– Понял, госпожа.

Проскрипел снег под легкими женскими ногами за спиной, запоздалым эхом скрипнула дверь.

Воевода подошел к Синь-камню. Отчего-то казалось – камень в дровнях сидит. Не лежит, а именно что сидит. Приложил к ледяным шершавым бокам ладони. Прислонился лбом – а вот на колени так и не опустился.

То была даже не просьба помочь. Просто хотелось прикоснуться к камню – надежному, спокойному... хотя этот-то камень бывал и беспокойным, воевода сам это знал.

Но почувствовал он именно это. Каменный зверь на сей раз и впрямь дышал спокойствием. Светлым покоем того, кто на пути домой. И воевода мимолетно успел позавидовать ему – как навалилось желание спать, едва не на месте норовя повалить в хрусткий снег.

Едва добрел до избы, где теплая духота укутала одеялом, увела в сон.

Кого благодарить, воевода не знал, но спал он эту ночь без снов. Только ближе к рассвету, во сне ли, наяву, померещилось, будто кто-то пробежался по груди легкой побегой кошки – только на двух ногах.

Наутро поднялись, вывели коней из конюшен, вновь заседлали, отдохнувших и сытых. Воевода выскреб из калиты на поясе все серебро, ссыпав горстью на стол. Ему уже без надобности. Цель была близка – каждого это будоражило по-своему.

Скорута снова выбрался во двор, стоял у ворот, опершись на палку, взъерошенной птицей, в косматом колушке, мохнатой шапке, глядел вслед дружине и саням.

– Эй, княгиня-матушка! – окликнул молодую старуху рыжий гридень Ероха. – А что, не лгали ли старики про Синь-Медведь-камень? Уж каких от него будто бед да страхов не навидались, пока везли, а у нас смиренхонько ехал.

– Сам подумай, молодец, – откликнулась седая княгиня. – Одно дело, когда в полон идешь, другое – когда домой возвращаешься. А Синь-Медведишка нынче домой едет...

И примолвила голосом, не в пример более похожим на прежний шелест поземки:

– А зря, удалец, языком не трепи – накличешь!

И все же – все же переменялся ее голос. Оттаивал.

Она и сама переменялась. Странное у нее было лицо. И радостное – теперь уже нельзя в этом было ошибиться, – и отчаянное. Воевода вдруг задумался: каково ей сейчас? Каково искать не мести, как ему и его людям, – кары и смерти? Невольно примерил на себя все, что

говорила седая княгиня про нее саму, – и было нехорошо, так нехорошо, что не всякий враг выдумает, а стало хуже.

Отступница... каково б ему было жить с клеймом отступника, каково б было идти перед лицом Государю и братьев из дружины Государевой – карой очиститься? Как ни суди, чем ни меряй – выходит, она потеряла больше.

Когда вновь переезжали Оку, княгиня велела набрать в притулившееся невесть когда на дровнях, под боком Синь-камня, деревянное ведро воды из полыньи.

По льду впадавшей в Оку речушки Тырницы поднялись вверх, а там уж и пяти верст не было до поросшего сосняком урочища. Медные стволы возносились вверх, в патиновые облака крон. Когда-то воевода любил сосняки. Да и сейчас... как-то легче на душе становилось здесь. Древнее место... тут еще лесная голядь молилась и волховала. И вятичи-находники, загнав лесовиков в чащобы и болота, не разорили их святыни, а чтили их – благо вера была одна и кумиры общие, только имена выговаривали по-разному – того ж Перуна-Громовника, что поминал молодой гридень, величала голядь с придыханием «Перкун». Но на угоре кланялись не ему...

В снегу был виден провал, отороченный черными бревнами полуразвалившегося сруба. Тут, в землянке, и жили Перты, те, кто хранил эту землю тысячи лет, те, кто дал ей свое имя. Бревна бывшего тына то тут, то там торчали из снега, кривясь и клонясь каждый в свою сторону. За полвека сосняк перешагнул разрушенную границу древней святыни. Воевода перед этой границей соскочил с коня. Кинул уздечку ближнему гридню, расстегнул ремни шлема, снял его, снял прилбицу. Припомнились слова, которым учил когда-то отцов друг Апоница.

– Кто этому месту обитатель, кто настоятель, кто содержавец, здравы будьте.⁹⁰ С хозяйкою, с детушками. Не гневайтесь, примите гостей на широкий двор, – проговорил он вполголоса.

По верхушкам прошелся порыв ветра. Услышали ли его старые Перты, ветрами кружащие над своим вековым гнездом, или нет – кого спросить?

⁹⁰ «Кто этому месту обитатель, кто...» – здесь и далее по возможности приближенные к аутентичным текстам заговоры.

Глава 3

Пертов угор

– Что хозяев уважил, воевода, это хорошо, – подала голос с подъехавших дровней седая княгиня. – Да только мало того будет.

– Так научи, госпожа, коли мало.

– Научи... – Она улыбнулась... Быть того не может! И впрямь улыбнулась, и бледный лед на лице не пошел трещинами. – Учиться долго придется, не один год. Уж лучше, воевода, я свое сделаю, ты – свое. Молодцев своих по дрова шли. Пусть костер сложат, я укажу где. Да близко к месту сосны не рубите. Трогай! – Последнее уж было сказано молодому Родьке, что сидел на дровнях впереди. Тронулись с места кони, втаскивая сани с сероватой глыбой на землю святилища. В солнечных лучах на складчатых серых боках вновь заиграли искорки, словно на звериных шерстинках. Княгиня соскочила, пошла рядом и чуть впереди. Наконец указала место. Демьян-Догада, Чурыня-черниговец да Ероха втроем столкнули каменную громаду в снег, что только хрустнул под ее тяжестью. Остальная дружина разошлась по лесу, валить деревья – дело не такое уж непривычное. Каждый витязь лесного края учится этому с младых ногтей – сложить костер, навести переправу, на скорую руку обметать тыном границы воинского стана.

Сам воевода и тут не отстал от своих людей. Но больше трех ударов по дереву сделать ему не пришлось – прибежал Родька:

– Воевода! Княгиня-матушка кличет!

Вновь поднявшись к святилищу, воевода нашел седую княгиню у его границы. Там уже горел невеличка-костерок под подвешенным на три суковатые палки котелком, княгиня ворожила рядом. Дивно сказать – и за этим обычным бабьим делом гляделась она не кухарихой из лесной веси, а – княгиней. В тереме набралась? Да навряд ли. Навряд ли покойный Муромский князь полюбил бы ту, что держалась иначе. Такой, наверное, и была, когда приходили к ней люди из ее и окрестных весей.

Только не седою еще, и свет в глазах не напоминал о полуночном жальнике...

– Звала, госпожа?

– Звала, воевода, – не отрывая взгляда от варева в котелке, ответила седая княгиня. – Дело есть, для лучших воев из дружины твоей. Зверя надо добыть. Сильного зверя.

Враз припомнились старины про Володимера Славича Красное Солнце, что сидел в древнем Киеве на Дунай-реке.⁹¹ Тот тоже, бывало, посылал богатырей добыть зверя лютого иль птицу-лебедь, да живком – кумирам на жертву.

– Небита-некровавлена, поди? – воевода усмехнулся углом рта. В ответ шевельнулись губы княгини:

– Нет, воевода... Требы кровью нынче не будет... звериной кровью. Мне от зверя шкура нужна. Хозяина даром приветить, как пожелает.

Воевода только склонил голову в быстром поклоне. Зверь так зверь...

С собою взял самых бывалых, отчаянных охотников – плечистого силача Гаврилу, румяного золотокудрого Микиту и седуусого Дорофея. Взяли с собою луки и полные тулы стрел,

⁹¹ Про Володимера Славича Красное Солнце, что сидел в древнем Киеве на Дунай-реке. Тот тоже, бывало, посылал богатырей добыть зверя лютого иль птицу-лебедь, да живком – кумирам на жертву. Князя былинного Киева, Владимира Красное Солнышко, до XX века ни один сказитель не называл Святославовичем. Если прибавить к этому тот факт, что в целом ряде былин Киев стоит на Дунае, а в немецких и шведских поэмах про «Вальдемара, короля руссов» и его лучшего воина, Илью Русского, эти герои воюют с готами и гуннами, начинаешь подозревать, что русские былины складывались в местах и временах, далеких от жизненного пути Крестителя Руси, с которым их почему-то связывают. Былинный сюжет, связанный с заданием богатырю привезти птицу или зверя живьем, исследователи связывают с жертвоприношениями.

взяли длинные копыя-рогатины с перекрестьем у основания рожна. Проверили ножи-засапожники, конскую упряжь.

– Ни пуха ни пера! – крикнул вслед воеводе и его спутникам Аникей.

– К черту! – грянуло в ответ в четыре голоса.

Воевода не выбирал добычи – выбрал кто-то другой. Не лесной бог – они, говорят, на Ерофея уходят в землю и спят до весны. Кто ж тогда? Индрик,⁹² Отец Зверей, про которого в песнях поется? Синь-Медведь-камень? Или сам хозяин Пертова угора? До того воеводе не было дела. Не важно, кто плел судьбу, – важно, что вывязалось...

Встретился б кабан, воевода убил бы кабана. Свалил бы лося, выйди сохатый навстречу. Наедь они на берлогу – осиротело б медвежье логово. Воевода, не раздумывая, сошелся бы с лютым – страшной охотничьей байкой, длиннохвостой рысью с круглыми ушами, что в прыжке сбивает вершника с конем.⁹³ Встал бы на самого Индрика, подымись сейчас Отец Зверей из подземных глубин, круша похожими на лодейные ребра клыками мерзлую землю, вздымая над соснами длинный хобот. И страх, и охотничья мера остались там – на пепелищах мертвого города.

А вышло по-иному. Редкий, втройне редкий зимой, когда туры сбиваются стадами, уходят в леса из поля, тур-одинец встретился им. Могучий, явно уже на втором десятке. Весу, наверно, в полсотни пудов, холка была б вровень с еловцом⁹⁴

⁹² *Индрик* – мифический «всем зверям отец» из «Голубиной книги». Живет под землей, прокладывая русла рек и отворяя подземные водные жилы. С ним связывали находки мамонтов на севере Руси (см. далее описание по тексту).

⁹³ *Лютый, лютый зверь* – загадочное животное древнерусских текстов. Судя по изображению на одной новгородской печати – крупное кошачье. Историк В. Мавродин предположил, что речь идет о последних леопардах, сохранявшихся на юге Восточной Европы со скифских времен.

⁹⁴ *Еловец* – наверху острого шлема русских воинов в виде пучка перьев, волос, позднее – флажка из ткани.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.